

ла Победы
Отгремел
лет Кыр
ну. Встре
ать своих
ложится
растают
стоичут гу
шине это
оны взвол

Юз Алешковский

От смертельной опасности Красная Армия
асла человечество. Я не стану омырчать
от час картинами фашистских злодеяний;
и нет в том нужды: былое, отнюдь не
шире жизни. Мы же в этом мире
ажился будущее, а не прошлое; он
е видел, он не знает, что такое
шизму — вонем.

Как крысы, металась ослепшая
шисты по подземным ходам, по
лям, по трубам. Есть это
кое значение: чуждые тисы, пытаю
е тоном света, пытаются
ребутся, пища, раз
ных подполья. С
будет смелая:
по свету, по

году жизни в ладу-подвижника. Долго мы
боролся один на один против огромной си
де. И в конце концов стало бы с детьми канад
скими фашистами парижского рабочего, ес
ли бы не спасли нас в последний момент
доку. Кто спасел нас тогда? Мы спасли
не только нашу Родину, мы спасли всечело
вечество, мы спасли мир, мы спасли Европу
и Америку, мы спасли все живое, все музее
и библиотеки, мы спасли Англию, породив
ую Шекспира, если бы не Франция, если бы
ые англичане не спасли нас от немцев, если бы
не спасли нас от немцев, если бы не спасли нас
жизни, мечты, оттого же
верт и над голодом тьмы во
вольности, братства, света

снова зашагал к счастью.
реинность, совестливость, по
могут миру встать на ноги
темнение — не только горю
ня. И в утро победы мы
вторяем: да здравствует

Не раз мы
вал слава

**СНЕЖНЫЙ
СКРОМНЫЙ
ПЛАТОЧЕК**

Казалось, нет границ
дегда на мвр; но
ское сознание
здал фаши



Юз Алешковский

СИНЕНЬКИЙ
СКРОМНЫЙ ПЛАТОЧЕК

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ
ОБ ОДНОМ БЕЗУМЦЕ
И СЛОМАННОЙ СОБАКЕ

ПРИЗНАНИЯ
НЕСЧАСТНОГО
СЕКСОТА

СМЕРТЬ ЛЕНИНА



МОСКВА ВАГРИУС 2000

УДК 882-32
ББК 84Р7
А 49

*В оформлении обложки использован фрагмент картины
М. Кугача «9 мая»*

Дизайн Т. Гусейновой

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут
преследоваться в судебном порядке.*

ISBN 5-264-00224-X

© Издательство «ВАГРИУС», 2000
© Юз Алешковский, автор, 2000

СИНЕНЬКИЙ
СКРОМНЫЙ
ПЛАТОЧЕК

СКОРБНАЯ ПОВЕСТЬ

Памяти матери, отца и брата

Гражданин генсек, маршал, брезидент
Прежнев Юрий Андропович!

К вам регулярно в течение двух лет обращается Байкин Леонид Ильич с криком чистосердечного признания и с просьбами о восстановлении справедливости, то есть лично я, обросший ложью с головы до ног и провонявший страхом, как солдатская портянка периода окружения.

Ни ответа, как говорится, ни привета не имею, хотя лечащий враг, вот именно не врач, не доктор, но враг не отказывает мне лично в бумаге и говорит:

— Пиши, Байкин, пиши, но не буянь. Читать интересно эту абракадабру. С тобой не соскучишься. Я, — говорит, — докторскую скоро защищу по письмам твоим и по истории твоей болезни.

Но этого письма-заявления Втупякину не видать! Не видать!

Знайте же: никакой я не Байкин Леонид Ильич, а Вдовушкин Петр, отчество забыл в наказание самому себе за давностью лет.

В этом месте слезы капают из глаз моих бесстыжих, обвожу ихние следы неровными кружочками в соответствии с формой клякс.

Плачу, но перехожу к делу, потому что бумаги мало. На истории болезни Карла Маркса пишу ввиду ротозейства проклятого оборотня Втупякина.

Третьего дня созвали нас на конференцию безумных читателей. Силком собрал, от телевизора оторвал — лишением папирос-сигарет пригрозил.

— Вы, — говорит, — сволочи с манией преследования величия хлеб казенный тут жрете, советскую власть наихудшими помоями обливаете, на путь выздоровления от дисидентства вставать не желаете, но про «Малую землю» и слышать не хотите!

Вот и я хочу начать свое откровенное признание с того, что никакой Малой земли на земле нету. Есть одна большая земля. Малая же земля — это луна, которая вызывает приливы крови к голове моей и соответственно отливы мочи сами знаете от чего.

Я воевал на земле, грешно жил на ней, натворил черт знает каких затей и завсегда считал луну землею малой.

Луну же в один прекрасный момент оккупировали американцы, в результате чего мы были вынуждены высадиться в Афганистане. Так втолковывал нам на конференции, после читки вслух «Малой земли», Втупякин.

Название вашенской книги надо переделать в интересах правды и назвать ее «Луна». Если же назвать «Большая луна», то это несправедливо будет, вроде «Малой земли».

Ну, мы, конечно, вопросы задавали Втупякину насчет того, кто пишет за вас эти книги. Втупякин заявил, что, пока не сломлен империализм и внутренние диссиденты, ответ на такой вопрос является государственной партийной тайной, но что Ленинскую премию за литературу поделят поровну между временно неизвестными писателями, наподобие того, как ее делят между космическими конструкторами и делателями атомных бомб. А потом придет время и неизвестные писатели станут известными, чтобы народ наш узнал своих героев... Узнал бы! Узнал!

Тут я опять плачу невыносимо, потому что солдат-то неизвестный не я на самом деле, Вдовушкин Петр, а Байкин Леонид Ильич, и славы его всенародной не желаю, не хочу, настаиваю и протестую.

Жизнь прожита зря. Пора подводить итоги, маршал. Сдерживая слезы, перехожу к самым что ни на есть обстоятельствам Второй мировой войны, но временно передаю перо Владимиру Ильичу, отлученному главврачом дурдома Втупякиным от чистой бумаги. Его-то за что держат тут? Ведь если б не он, то вся ваша шобла землю пахала, у станков стояла, делом занималась бы, а не развалом сельского

хозяйства. Сосед по койке в корень смотрит. Передаю перо. Сам иду курить, чтобы сузить сосуды и слезы сдержать.

*Товарищ генсек! Товарищи члены политбюро! Прошу срочно собрать экстренное заседание и разобрать чрезвычайное дело Вдовушкина Петра. Архинелено не доверять в наше время признанию изолгавшегося негодяя. Товарищ Вдовушкин, находясь с 22 июня 1941 года в рядах Красной Армии, пытался скрыть сыновнее родство с расстрелянным врагом народа ярым кронштадтцем Вдовушкиным (sic!). С этой целью **Вдовушкин-сын** (выделено мной. — В. Л.) в смертельном бою обменял свои документы на документы Байкина Леонида Ильича. Эрнст Мах может краснеть, ибо народ метко заклеил подобные штучки чудеснейшим глаголом «махнуться».*

Священный долг коммунистов не только поддержать тов. Вдовушкина, но и организовать решительное наступление на стратегические и сырьевые интересы США во всех важнейших регионах мира (см. посланные мною еще в июне на изнанке молочного пакета январские тезисы). Только тупицы из шайки Маха — Авенариуса не могут понять, что закопанный в первичное, эрго, в материю, неизвестный солдат является Байкиным Леонидом Ильичом, а находившийся в идеалистическом состоянии Вдо-

вушкин Петр — сын злейшего кронштадтца и пред-юниониста Вдовушкина-старшего.

*Смерти подобно ослабление нашей титанической борьбы с мировым общественным мнением — этим гнусным служакой империализма. Оно (общественное мнение, прим. верно. — В. Л.) якобы обоснованно (см. мою докладную записку XIV съезду. — В. Л.) считает нашу поддержку нац. осв. движения всего-навсего стратегически хитрой мотивировкой, фактически **фиговым листком** (выделено мной. — В. Л.), прикрывающим гегемонистские неоимперские цели родины социализма. Передайте большевистское мерси советским композиторам за их нечеловеческую музыку. После нее хочется бить по головкам и левых, и правых, и центристов. Всех! Должен признаться, что чтение вашей трилогии обнадежило меня в том, что мы придем к победе коммунистического труда в литературе над трудом одиночек, этих беспартийных снобов, окончательно погрязших в болоте так называемого самовыражения.*

Пусть ЦК обратит внимание на то, что я фактически лишен писчей бумаги, а переписка с политбюро на истории болезни Карла Маркса — вопиющий нонсенс. Чувствую себя хорошо. Питание преотвратнейшее. Хочется временами чего-нибудь вкусенького. Пора завоевывать Общий рынок с его несметными продзапасами. Жду свидания с Наденькой. Вот выпишусь, и доспорим с путаником Сус-

ловым относительно опасности обуржуазивания партбюрократии совноменклатуры. С комприветиком. Вл. Ульянов (Ленин).

P.S. Все разговорчики о моей мании величия не что иное, как происки господ отзовистов и часть плана ликвидации нашей партии.

P.S.S. Электрон практически неисчерпаем.

P.S.S.S. Надеюсь, что решение политбюро о тов. Вдовушкине будет положительным, поскольку советские профсоюзы — школа коммунизма.

Ваш Вл. Ленин (Ульянов)

Вот, маршал, и покурил солдат Вдовушкин. В сортире чего только не наслушаешься. Сразу тянет хохотать, а не плакать — слезы лить — о погибшей понапрасну жизни.

В блоке нашем имеется пара душ диссидентов. Втупякин их называет по-медицински чокнутыми циниками. Непонятно это, маршал. Непонятно. Люди все правильно говорят, все до правдивости подчеркивают, от себя ни слова не прибавляют, а их — в дурдом! Я своим крестьянским умом мало чего в социальной жизни понимаю. Но я вижу простым незамутненным оком, что колхозы — говно и хуже крепостного строя в тыщу раз, а рабочий — раб, малооплачиваемый и пьющий вусмерть. Что, вы сами, что ли, не видите? А верить в Бога почему людям не велите? Верно люди говорят, что только в старом

Риме христианам было хуже, чем сейчас. Человек на Пасху в церкву пошел, а его легавые мало того что не пустили, но и еще бока, сволочи, намяли и безумцем объявили, чтобы право отбить жаловаться прокурору на инвалидные побои со стороны милиции. Какое уж тут право человеческое? У собаки и то больше человеческих прав, чем у людей. Она хоть лаает и куснуть в случае чего может. Мы же — терпи и не гавкай, не то в дурдом — под электрошок, инсулин и проклятую химию!

А ведь диссиденты все вежливые, культурные и внимательные, с Втупякиным в спор не вступают из-за поганой пищи и прочих многочисленных мытарств. Душевные они люди, маршал, и народ свой русский любят, еврейский, татарский, украинский, армянский и литовский не меньше вашего. Вот могли ведь сейчас в сортире Ленина поколотить, а не поколотили. Ведь он приходит и говорит:

— Поставлю вопрос об экспроприации сигарет у врагов коммунизма и революции! Курение, — говорит, — это никотин для народа!

Ну Карл Маркс и набросился на Владимира Ильича с пеной на губах:

— Ты, — орет, — учение мое обдристал и меня с дерьмом смешал, а еще молодому Марксу курить не даешь, большевистская рожа, сифилитик, садист!

Еле Ильича отняли у Карлы. Его-то за что держат тут? А главное, бороду ему Втупякин

не разрешает отращивать. Ты, говорит, вовсе не молодой Маркс, а проходимец, кассу обокрал, основоположником теперь прикидываешься! Не положена тебе борода никогда!

А я так считаю: поскольку человек без бороды не похож, конечно, на Карла Маркса, то надо разрешить ему отращивать бороду, а уж потом глядеть, кто он есть на самом деле. Может, он даже не Карл Маркс, а Энгельс или какой-нибудь Лев Толстой. Неужели, маршал, непонятно это?

Я вот пишу, а когда слезы душат, историю Марксовой болезни читаю. Никакая это не болезнь. Верно все человек говорит, верно. Ни в коем случае нельзя в наше время пролетариям соединяться. У нас-то ведь в семнадцатом соединились они — тут всем и крышка пришла. Прихлопнули их Ленин со Сталиным вместе с ихней диктатурой, как зайцев, и теперь, как говорится, ни бзднуть, ни перднуть измученной душе.

Перехожу, однако, к своему делу. Как сейчас помню, башка на части рвется, душа в пятки ушла, что делать — не знаем никто, снаряды с минами рвутся, пули вжикают, вверху рев, с боков крики, стоны, каша кровавая, только рядом человек был, старшина, смотрю — голова евонная в каске лежит, как бы в миске глубокой, и ухмыляется, глаза на меня снизу вверх так и тарашит, а где сам — неизвестно. Не видать ничего в дыму. Где

фронт? Где тыл? Где фланги? Ничего не видеть. Только комиссар орет: «За Родину! За Сталина, сволочи, за власть Советов!» А я бы и рад, может, за Родину помереть, всем миром все же помирали, но за Сталина помирать — было в душе такое мнение — ни за что не хотелось. Плевал я на него сколько себя помню. Разве же не сумасшедшее это дело — помирать за кровопийцу, который родителей твоих расстрелял и тебя самого чуть не извел, спасибо бабка в деревню увезла?.. Потом к тому же землю отнял, в колхоз загнал, жилы все из нас вытянул, с Гитлером дружбу завел. Мало того что завел, скотину нашу на ливерную колбасу к нему погнал. Мы же девятый хер без соли доедали, простите, маршал, за выражение.

Так вот, как услышу «За Родину», так вперед меня тянет, врукопашную, страха нету ни в пятках, ни в душе. Как добавит комиссар «За Сталина», так словно кто подножку мне ставит и заворачивает силком в другую, значит, от врага сторону. И со многими солдатами, по-моему, то же самое происходило. Почему бы мы тогда отступали и отступили по самую Москву? Только по этой причине. Других, по моим прикидкам, не было. Никакая сила, маршал, не помешает солдату помереть за Родину. Верно?

А комиссаров у нас сменилось за месяц с начала войны — тьма. Им же велено было выбегать, «за Родину, за Сталина» орать. Вот

они и выбегали поначалу и орали. Тут их и подстреливали, безголовых, или в плен брали, потому что летят они сломя голову с ТТ в руках, а солдаты — на сто восемьдесят градусов и снова ничком в окоп, колени в подбородки вжимать, Богу молиться о спасении от муки смертной. Тогда приказ Сталин дал — чуял, сволочь, что солдат помирать за него не хочет, — забегать комиссарам не вперед, а назад, в тыл солдатам, и шпокать без сомнения в лоб каждого отступающего. Тут комиссары пуще прежнего вопить стали «за Родину, за Сталина». Глотки-то у них с семнадцатого года луженые, и главное дело — орать то одну пустобрешину, то иную.

Что делать солдату? Гитлер на него танками прет, бомбы сверху на него сыплет, пулями свет Божий прошел, нету мочи сопротивляться. С тылу же комиссар гонит тебя, клонит, как травиночку, под косящую косу мосластой шкелетины, смерти то есть. Что солдату делать? Ежели помереть в два счета — а это проще простого, — что с Родиной станет? Может, Сталин с Гитлером столковались, чтоб извести нас всех с лица земли, зажали с двух концов — спереди танки-минометы, сзади комиссары. Правда, к каждому солдату комиссара не приставишь. Народу больше было, слава Богу, чем ихнего горластого брата. И это решило судьбу войны. Сминал солдат комиссара, назад откатывался, отступал, так сказать, жизнь спасая для будущего боя, и зло

лишь брало, что сталинскую рябую усатую харю спасал тем самым вместе с Родиной.

Ладно, думалось, при, фюрер, при, зараза волчья, прите, крысы фашизма. Заманим мы вас по-кутузовски в конце концов в такую крысоловку, что кровью похаркаете почище, чем мы харкаем сейчас.

Победили мы? Победили. Сам солдат победил, гражданин генсек, а не ваши комиссарские глотки. Солдат победил всенародный, и я — русский Иван в том числе, а не вы — маршал-генералиссимус с золотой сабелькой и тремя «Героями». Стыдно. Стыдно, генсек.

Ох, как зарыдал я тогда от стыда неимоверного, невыносимого, самой смерти страшной который, как я тогда, Господи, зарыдал. Век не забуду.

Помните, генсек? Никиту вы скинули, сами к креслу приросли и, разумеется, постепенно зажрались. А своре вашей только того и надо. Облизывать вас принялись, бесстыжие, на глазах всего честного народа. Одну звездочку геройскую дали, затем вторую. Затем сабельку золотую на белых партийных рученьках поднесли. Вы ее приняли с важным видом. Затем маршала вломили вам. Бриллианты на шею повесили, словно царю-батюшке, а вы и бровями не пошевелили. Не проснулась в вас совесть, не обмерла от нахальства душа, не сказали вы своим жополизам с серьезными партийными лицами: «Буде, братцы. Вы уж... тово... перегнули слегка».

Не сказали, не взяли сабельку золотую и все ваши дармовые звезды с бриллиантами, не отнесли их к Кремлевской стене на могилу Неизвестного солдата, не положили на красный мрамор рядом с синим огнем и не извинились перед безмолвным навек прахом следующим образом:

— Прости, солдат. Прости. От души говорю. Зажрался. С вождями это бывает. Твое это все — золото, бриллианты, сабли, ордена, медали, — прости. Может, не погибни, сидел бы ты сейчас на моем месте, а я лежал бы себе тут в покое и тишине исполненного долга. Никакой я, конечно, судьбы войны не решил, будучи кадровым комиссаром, а лишь печать ставил на партбилеты после боя и выжившим их вручал, священнодействуя как бы. И не был я, солдат, душою новороссийской операции. Прости. Но и пойми, не может народ без чего-либо такого, что напоминает ему царя-батюшку, чтобы хоть повздыхал народ, избывая тоску свою с семнадцатого года, глядя на грудь богатырскую маршальскую, орденами увешанную. Народ, он что ребенок: если батька помер, отчима ему подавай. Не для себя лично вешаем мы на мундиры все эти погремушки-побрякушки, поверь, а исключительно для народа, для веселия его душевного и развлекательности зрения. Так что прости, солдат. Царство тебе Небесное!

Сделали вы так, генсек? Сказали вы так, маршал? Нет! А я сказал и сделал.

Гляжу на вас тогда по телику и чую вдруг: белеет лицо мое, не краснеет, а именно белеет от смертельного стыда, растерзавшего разрывной пулей совесть и душу. Боже мой. Что я наделал? Как я жил?.. Рыдания враз затрясли меня почище инсулинового шока...

Бегу, не в силах жить на земле в прежнем образе, прямо на могилку Неизвестного солдата, то есть самого себя, вернее, Вдовушкина Петра, но в конечном счете Байкина Леонида Ильича, каковым и числюсь по истории болезни, приписанной мне Втупякиным — кандидатом сумасшедших наук.

Разъяснения потом. Все разъяснения потом, ибо, сдерживая слезы, стараюсь изложить непременно и главное.

Прибегаю, реву не в голос, по-бабьи, а внутри, и стенаю так, что ребрышко каждое холодной болью продувается, и чую некоторую предпоследнюю опустелость, нечто вроде смерти, одним словом. Падаю на колени перед негасимым огнем с розовым венчиком от дождя осеннего, морозящего, падаю, ударяюсь о мраморный гранит кающим лбом и стенаю:

— Леня! Все сделаю. Все. Ты тут будешь лежать, а не я. Прости. Не надо мне славы твоей посмертной. Я ведь думал, что живой — я, а ты — мертвый, но все теперь наоборот. Прости... Исправлю такое положение. Незамедлительно исправлю. Все на свои места встанет. Жизнь доживу вполне откровенно, а у тебя времени — до Страшного суда, перед

которым могу предстать хоть сейчас, ибо отдаленность его для меня пытка. Пытка. Прости, Леня!

Лечу, словно птица на одном крыле, обратно домой. Беру фанеры лист. Палку к нему прибиваю. Пишу на фанере чернильным карандашом, как на посылках в деревню временами:

**ЗДЕСЬ НАВЕКИ ЗАХОРОНЕН ИЗВЕСТНЫЙ
РЯДОВОЙ СОЛДАТ Л. И. БАЙКИН.**

«Погиб смертью храбрых» не стал я писать, так как это было бы неправдой. Не было ни в нем тогда, ни во мне никакой храбрости, а лишь страсть была спасти солдатские наши, нужные Родине жизни от непростительной, дураковатой смерти, на которую, маршал, жестоко и подло обрекли нас Гитлер со своим дружкой Сталиным.

Несу плакат на могилу, несую с легкостью необыкновенной, хотя корчусь от въевшегося в душу стыда... Дождь льет. Ветер под дых колошматит, плакат из рук выбивает и вырывает...

Вбиваю его булыгой случайной с правой стороны могилы в землю. Крест пририсовываю наш православный над фамилией и говорю:

— Хватит, Леня. Будь ты Байкиным теперь самим собою, а я принимаю прежнее истинное свое имя Вдовушкина Петра. Прости.

С этими словами ухожу... Дома радуюсь, ну прямо как мальчик. Чист! Чист! Глав-

ное — чист, а все остальное приложится: и возмездие за злодейство многолетнее и пользование чужой славой в корыстных целях, и так далее, и все такое прочее...

Хлобыстнул самогонки. Откуда у отечественного инвалида деньги на водку, маршал? Нас каждый Божий день не зовут в Кремлевский дворец жрать «столицу» и балыком ее же занюхивать. Мы самогонку гоним. И на том спасибо...

Весело мне, одним словом, в комнатенке моей бобылевской. Соседи дрыхнут — на работу им завтра. А если и разбудил я их пьяной, ранней и радостной своей песней, то попробуй сделай мне в такой момент замечание. Боже упаси! Протезом враз отколошмачу.

Всю ночь пою, надрываюсь: «...идет война народная, священная война... двадцать второго июня ровно в четыре часа... синенький скромный платочек падал с опущенных плеч... и у детской кровати тайком ты слезу вытираешь...»

Пою и плачу, как вот сейчас. Но сейчас нету радости в моей душе и просвета искупления. Лишь гнев в ней, маршал, один гнев и обида на допущенные издевательства над телом и совестью инвалида... Но ладно...

Сижу, значит, пою, видение лица жены моей законной — Нюшки, Настеньки, Анастасии — усилием воли своей, покалеченной жизнью, прогоняю. Протез снял. Культия блаженно от него отдыхает. А сама нога моя

правая знаете где, маршал? В могиле на площади Революции, рядышком с костями известного на самом деле солдата, а не неизвестного, рядом с Байковым Леонидом Ильичом, другом моим боевым, верней, рядом с тем, что от него осталось... Плачу и пою — собака, одинокая и затравленная наконец-то мстительной судьбой...

И то ли примечталось, то ли приснилось, но явственно вижу себя на поле того последнего моего боя, волокущего по грязище, по разводу осеннему Леню, друга моего, который начисто потерял от ужаса, унижения отступления, от заброшенности нашей солдатской желание продолжать жизнь. Потерял — и все.

Но во мне-то тогда силенок было, маршал, на две-три жизни. Семижилый был парень, с руками, с ногами, с рожей веселой, с головой не тупой, с добрым сердцем — нормальный, одним словом, русский человек, не до конца еще припохабленный советской крысиной властью...

Ад дьявольский по сравнению с тем полем боя домом отдыха, думается мне, был... На взрывы всякие, крики, стоны, пули, осколков свист, штурмовиков вой я уж внимания не обращал. Ибо такая запредельная тоска пронизывала мою душу оттого, что ползли мы по растерзанному, неубранному полю побитой, вытопанной, втопанной в прах земли, вы-

жженной ржи, что, кроме тощицы этой и настырной силы, внушенной свыше, ничего во мне не было. Ничего.

— Леня, — хриплю яростно, — Леня, Бога побойся, пошевели ноженьками и рученьками, пошевели, не то не выползем мы, даже в плен не возьмут нас — такие жалкие мы и страшные, не бойсь, ползи, родной, спасись надо, а то кому же гнать обратно с поля нашего ржаного гадостное это воронье, фюреровские усики, сталинскую рожу рябую, пожалей, Леня, себя и меня...

Немного осталось нам до низинки, до деревьев, измочаленных жутким железом... От танка спаслись. Прямо на нас пер. Окопчик нас спас. Танк дальше, в плоть земли нашей поперся, и вонища от него была, как от первого моего в жизни трактора. Как сейчас помню. Приятная такая дизельная вонища... Ужас вокруг, а душу захолонуло от страсти по мирному труду на крестьянском поле...

Окопчик от танка нас спас, но он же Леню и погубил.

Я уж думал: все — спасены... темнеет... до низинки дотянем, а там уж у пенька какого-нибудь прикорнем... черт с нею, с едой... сон важнее человеку любой еды... суток трое мы уже не спали... за что, Господи, такие дадены нам Тобою муки ужасные?

В этот-то момент и рвануло-шарахнуло до полного оглушения. Даже не знаю: успел я слышать сам взрыв или не успел... Неважно.

Отряхнулся от земли, промаргиваюсь, дыхание налаживаю. Жив я — окаянный. Леня, мой друг, лежит рядышком, словно спит, — глаза закрыты, на губах улыбка ребеночка. Потормошил я его слегка, а тормозить-то было нечего. Каша одна с костями от Лени осталась. Лицо лишь не тронута. Весь взрыв на Леню пришелся. Тем и спасен я был, но непоправимо ранен: Лежу я поначалу и не ведаю: то ли жалеть друга, то ли радоваться за него. Не знает в такие времена человек, что лучше. Но живым жить нужно.

Дрыгнул одной ногой — на месте. Дрыгнул второй — нету у меня второй ноги. Ясно это, причем без всякой в первые минуты боли. Мог бы ведь безболезненно уснуть и кровью во сне истечь до смерти. А почему боли не было, пускай Втупякин думает, на то он и кандидат наук. Может, еще тогда весь мозг от взрыва раком поставило. Не знаю, маршал.

Тянусь рукой к бедной ноге, неужели, думаю, по самую жопу отхватило, тогда хана... Но — нет. До коленки дотянулся — счастьем меня просто пронзило: цела коленка. Цела, Господи, спасибо Тебе за муки и спасение с частичными потерями.

Пальца на три ниже колена отрыв пришелся. Накладываю жгут, останавливаю кровь — брезентовый ремешок пригодился. Городской человек на моем месте сразу же или немного погодя дуба врезал бы, а я — человек кресть-

янский — губа не дура, мудер был с малолетства. Сам противогоаз, как только обмундировали нас, выкинул я к едрене фене, а сумку набил жизненно важными причиндалами. Бинты. Махорка. Чай. Соль. Йод. Сухариков, правда, не осталось в сумке. Рубанули мы их с Леней... Ну и прочая мелкая штукovina была там, вроде ножа, ложки... неважно, впрочем, все это, маршал...

Обрабатываю культю йодом... Онемела культя от жгута. Не чую боли. Йод не щиплет, совсем как вода... Может, контузило так, что шибанулся я? Страшна, маршал, боль, но и без боли в таком происшествии тоже жутковато... перевязал. Весь бинт на культю ушел. Что голова вся в крови — это я уже не говорю. Это пустяковина.

В глазах черно, между прочим, ночь в глазах, но не придаю я этому значения. А в ушах — тишина. Но бой идет. Чую лишь по сотрясению почвы... Беспмятство вдруг осенило меня, а может, кровящи потерял много и от этого внезапно испекся... Не знаю, сколько времени так прошло...

Очухиваюсь... Фу ты... Есть в глазах свет, в ушах звук, слава Тебе, Господи. Хотя понимаю, что действуют глаза мои и уши не в полную мощь. А были они у меня, на удивление, как у собаки, кошки и птицы. Неважно. Лишь бы, думаю, духом не изойти до конца.

Бой, кстати, все еще идет... Медсестер не видать нигде... Поубивало небось сестричек,

перебило деточек бедных... Сколько времени, непонятно...

Танки немецкие вроде бы назад откатились. Это я из окопчика зыркаю. Каску Ленину надел. Моя осколками пробита. Но спасла, однако, спасла...

Контратака наша бесполезная, смотрю, пошла. Понимаю, что чувствуют солдаты гибельную опасность такого боя, всю зрящность его чувствуют, нету в них духовитости ни на грамм. Какая уж тут духовитость? Одно лишь покорное уныние.

Но Втупякин-то прет — комиссарище — сзади, «За Родину! За Сталина!» орет. На верную смерть сволочь глупая и тупая, думаю, гонит солдатиков. На верную. На стопроцентную.

Косит фашист солдат, просто аккуратно косит, ибо окопаться успел как следует. Зачем ему своя атака, если Втупякин гонит солдатиков, как скот на советский мясокомбинат, прямо на вражьи пулеметы и минометы?

Боже мой, сколь их на глазах моих полегло...

Вот завернул, согнувшись в три погибели, один солдатик обратно. Втупякин с ходу — пулю в лоб... Еще двое завернули. И их выводит в расход Втупякин. С тылу солдатского сподручно ему это. Вот гадина. Спереди немец косит солдатиков, сзади Втупякин бьет в лоб.

Беру, не раздумывая, винтовку свою, но-

мер вот забыл, вскидываю и, спасая от смерти брата своего — солдата, шпокаю Втупякина в спину евонную, портупеей комиссарской перехваченную. Падает с копыт.

Солдаты, вся цепь, враз, как по команде, залегли. И немцы примолкли, не стреляют. Тишина. Словно совесть их взяла стрелять в форменных самоубийц. А могли, могли перебить всех начисто. Может, ждали, что в плен наши сдадутся?.. Не знаю. Факт описываю.

Тут туча чёрнющая небушко застлала. Тьма адская поле боя накрыла, но дождь не пошел. Тошно ему как бы было разбавлять благословенной небесной своей водицей грешную и несчастную человеческую кровь... Тихо кругом. Ни выстрела, ни голоса. Притомились люди вместе с техникой, и сама собой ночь пришла вскоре.

Зашевелились прилегшие было солдатики. Грязь зачавкала. Ползком кто куда откатились. Отступили. Спаслись для будущего победного боя.

О Втупякине я и думать даже не стал. Полезное в данный момент войны дело сделал для Родины и для народа без сожаления и не сомневаясь ни на грош. Потому что он — Втупякин — убийца был истинный, а не я.

Хотел я крикнуть, спасите, мол, братцы, рот побитый раззявил, а крика-то в нем нету ни на единую буковку. Хрип какой-то один. Контузия, видать, не простая. Глаза немного ожили, уши слегка отошли, а голос пропал.

Снова ору. Снова один хрип... Ну, и отка-
тились солдатики без меня, а я в окопчике
один рядом с Леной остался. Так-то вот...

Пишу, маршал, по вечерам. Втупякин пья-
ный дрыхнет в процедурной. До утра про-
дрыхнет, если, конечно, ЧП не случится. Тут
всякое бывает. Чаще всех Ленин с молодым
Марксом дерутся. Схватят друг друга за груд-
ки и орут, яростно задыхаясь:

— Плевать я хотел на все базисы и над-
стройки. Я теперь субъективный идеа-
лист, — это Карл Маркс орет, а Ленин взвиз-
гивает:

— Мы все равно придем к победе комму-
нистического труда.

— Нет. Ни за что не придем.

— А вот и придем, и придем, и придем.

— Даже и думать нечего. Не придем.
И так уж дошли до ручки, герр Ильич.

— Ликвидаторская рожа, — надрывается
наш Ленин, — догматик и архимерзопакост-
ный ревизионистишка.

— Жаль, Фридриха рядом нет. Мы бы
тебя головой твоей в парашу затолкали и на
Красной площади выставили ногами кверху,
как Гегеля, на всенародное обозрение.

— Мелкобуржуазная образина. Ты —
подлец и не выдержал испытания временем.
Ты сахар экспроприруешь у меня по ночам.
Нонсенс. Скотина. Курсив мой. Посмотри на
расстановку сил на мировой арене, хулиган.
Мы дружной кучкой вместе с политбюро

идем по краю пропасти, крепко взявшись за руки. Из конфликта советской власти и партии с народом-победителем выйдет партия и власть, а народ станет эффективным двигателем истории. С кем вы, господин Маркс?

— С кровавой большевистской мразью и философией вшивоты я — молодой Маркс — даже какать рядом не сяду. Понял, сковородка картавая?

Тут Ленин прищуривается, ручки потирает, довольный, и пользуется самым подковырочным своим оружием. Ехидно так напевает:

— Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, а Клара-то Цеткин украла у Карла кларнет... Вот — наша коммунистическая скороговорочка, батенька... Ха-ха-ха... Ты украл у Карлы Клару, и кораллы, и кларнет.

Это уже драка. Разнимать их приходится. Дадим, бывало, обоим по хребтинам и спать уложим. Тошно нам порою от ихней классово-вой борьбы, провалились они пропадом...

Вот Ленин опять к перу рвется. Зазудело в нем. Ничего не поделаешь, генсек, кроме как Марксовой истории болезни, нету у нас бумаги, а письма, которых я вам штук сорок уже написал, Втупякин к моей истории подшивает — доктором, сволота, мечтает стать на чужой крови и судьбе, скорпионище гадкое...

Докладная записка 345/678 рп.

Товарищ генсек, удивлен, что задерживается проведение экспертизы на предмет

идентификации проходимца, находящегося в принадлежащем мне (см. пост. ВЦИК от 2.2.1924 г.) Мавзолее. Мое заключение в ряде психиатрических домов, эрго, отрыв меня от внутреннего строительства и оперативных задач Коминтерна отрицательно сказываются на расширении сфер влияния советской власти во всем мире.

Ситуации во взрывоопасной Восточной Европе, равно как и на Кубе, Эфиопии, Мозамбике, Анголе, Ливии и Никарагуа, нельзя считать стабильными (sic). Давайте посмотрим правде в глаза: многолетняя компрометация идей социализма и особенно коммунизма практикой существования стран так называемого соцлага требует от нас достижения главной цели — уничтожения старого мирового порядка, новых методов тактики в рамках органически свойственной нашей программе глобальной стратегии и полнейшего политического аморализма.

Объективно детант продвинул наше дело далеко вперед, но посиживание на лаврах — смерти подобно. История не простит нам замораживания наших стратегических классовых активов. Мы обязаны пустить в оборот все завоеванное нами с таким титаническим трудом и невероятные лишения рабочего класса стран социализма за долгие годы детанта — этого начала конца традиционного политического мышления старого мира.

В наших руках, благодаря логике истории, оружие неслыханной силы, а именно: скотское желание всех народов без исключения мирно (выделено мной. — В. Л.) жить в на части раздираемом противоречиями капиталистическом мире.

Военное превосходство плюс неослабеваемый шантаж угрозой ядерной войны, наряду с беспринципной борьбой за так наз. Мир во всем мире, с активным подрывом всех экономических, моральных, государственных и прочих структур, изумительно готового к полному уничтожению старого общества, приносят плоды на наших глазах. Близок час, когда мы вымостим полы в сортирах золотом и бриллиантами чистой воды.

Считаю безотлагательным делом (см. июньские тезисы) строительство мемориальной европейской Стены Расстрелов и составление списков вырожденцев, подлежащих казни, партии и народа, начиная с ведущих банкиров (не забудьте цюрихских гномов. Ха-ха-ха-ха. Смех мой. — Вл. ЛУ.) и глав монополий и кончая более мелкой сошкой типа Коррильо, Берлингуэра, Леха Валенсы, Барышникова, Корчного, Солженицына, Рейгана, Максимова, Хейга, Абрама Терца и временно оставшихся в живых битлзов.

Необходимо на все сто процентов использовать пораженческие настроения господ западных либералов левого толка с их дурацкими (относительно нас. Выделено мной. —

В. ЛУЛЬЯН.) розовыми идеями и декадентствующую интеллигенцию, невыносимо погрязшую в утонченных сексуальных безумствах и наглом наркоманстве.

Существует, однако, опасность забвения предоктябрьского опыта российской истории, приведшего к свержению царизма и недолговременному установлению диктатуры пролетариата, который диалектически перешел после десятилетий красного террора в диктатуру партии — ума, чести и совести нашей эпохи.

Необходимо запомнить: никакое кокетство с объективно и субъективно пораженческими кругами не помешает нам выделить для них в ближайшее время небольшой участок Стены Расстрелов, сиречь стенки (примеч. верно. — В. Уль). Возможно, это будут одни из последних расстрелов в предыстории человечества. В коммунизме же, то есть собственно **в истории** (выделено мной. — Вилич.), расстрелы уйдут в далекое и проклятое прошлое, оставшись лишь единственным способом разрешения наших партспоров.

Если прискорбный и неслыханный акт отлучения меня от дел и более чем полувековое заточение в дурдомах СССР не помешали победоноснейшему шествию идей социализма и коммунизма по земному шару, то это — лучшее доказательство жизненности учения пожилого Маркса, которое всесильно, потому

что оно верно, что бы ни болтал господинчик, прикидывающийся нашим Прометеем. Ничтожество.

Привет тов. Андропову — славному ученику Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, Бери и др. — за принципиальное отношение к близоруким иудушкам и прочим внутренним диверсантам.

Необходимо, архинеобходимо для нашей политической мобильности раз и навсегда пресечь разговорчики о пресловутых свободах слова, творчества, совести, перемещений, манифестаций и критики в адрес партруководства — этого коллективного разума нашего времени.

Ваш в. Л-н.

Прошу управделами Совнаркома выделить мне дополнительно 300 (выделено мной. — В. У.) грамм сахара для стимулирования высшей мозговой деятельности и прекращения мною ряда вынужденных экспроприаций сладенького из тумбочек господ-диссидентов и прочих врагов трудового народа.

Я — за эксгумирование останков неизвестного солдата с целью нахождения среди них правой ноги тов. Вдовушкина Петра. Во время взятия Зимнего его отец оказал партии ряд неоценимых услуг. Затем был расстрелян за попытку навязать нам дискуссию о социальном перерождении партэлиты.

Трилогия тов. Брежнева — архиинтересная книженция. До этого генсека в нашей литературе даже меньшевика не было, не то что ликвидатора. Просто — глыба. Матерый человечиче. Скиньте, к чертовой бабушке, господина Достоевского — этого трупопоклонника — с фронтона библиотеки, заслуженно носящей мое имя, и присобачьте туда, батеньки, бюст нашего партийного писателя № 1. Рекомендую присвоить Л. И. Б-У звание вождя современного литпроцесса. (См. мою работу «Беспартийная мразь в литературе и очередные задачи красного террора в связи с его расширением в особо важных регионах мира».)

Ваш Ичълиульян.

Весьма удивлен, что тов. Брежнев въехал в Париж во время своего визита во Францию не на броневике, который я, кажется, предоставил к услугам партии и народа, а черт знает на чем, чуть ли не на «кадиллаке». Нонсенс, товарищи.

Ваш Чичь Нинел.

Бросьте все средства на усиление конфронтации арабских стран с Израилем — этим уродливым порождением бундовщины и гадкой исторической плантацией опиума для народа. Не забывайте, что все абсолютно источники нефти станут главным фактором организации всемирного экономкризиса,

который позволит взять нам власть в свои руки в основных капстранах мира.

Пора уже сказать нефтяным шейхам всех мастей: шагом марш из-под дивана... И дайте же мне, наконец, свидание с Наденькой, имманентно необходимое нашей союзячке с 1924 года.

Ваш Владимир Ильичло.

Долго больно писал наш Ленин, генсек. Зря вы его держите тут без экспертизы. Очень зря. Видно ведь, что умный человек и говорит занятно. Может, верно, что если бы он лежал в Мавзолее, а не какой-то другой хмырь полуболотный, то давно бы уже всем войнам пришел конец, несправедливости, капиталистам, забастовкам в Польше, танцплощадкам и прочему старому миру. Кто знает? Так зачем Втупякин, гаденыш, издевается над самым настоящим Ильичем? Он что сказал, пьяная харя, третьего дня?

— Выдь-ка, Ильич сраный, Ленин затруханный, на балкон из моего кабинета. Хватит тебе тут прищуриваться и жилетку несуществующую большими пальцами растопыривать. Выдь!

Но Ленин-то наш не будь дураком отвечает:

— С детства боюсь высоты, эрго: на балкончик не выйду, батенька. Сыграйте мне лучше сонату, после которой хочется умывать руки и гладить по головкам.

— Вот я тебя, змей, и подловил, — обрадовался Втупякин, — никакой ты не Ленин, потому что Ленин с балкона балеринки Кшесинской выступал, речугу кидал народу и, заметь, не блеванул на него сверху вниз ни разу. Эрго: не Владимир ты Ильич Ульянов-Ленин, а мерзавец и симулянт, растративший миллион казенных рубчиков в Сочи, Ялте, Вильнюсе, Москве и Тбилиси, а теперь голову морочишь здесь ответственной психиатрии — науке нового типа, грудью вставшей на защиту советской власти от дружков твоих по палате. Мы вам, обезьянам, вернем человеческий облик. Что ты, что Маркс — одна сволота. Марш под душ Шарко.

Но Ленин наш, как всегда, в слезы, но руку вперед выбрасывает с форсом эдаким комиссарским и на весь дурдом орет:

— Мы придем к победе коммунистического труда! Мавзолей — не купе бронепоезда! Вон из Мавзолея симпатичного грузина! Капитал растратил не я, а Маркс...

Если вы там у себя в Кремле считаете, что в Мавзолее настоящий лежит, а не туфтовый Ильич, то чего же вы этого не расстреляете? Почему отпечатки пальцев не делаете нашему по его же просьбе? Разве он стал бы просить сравнивать свои пальцы, если бы не чуял, что он — эрзац-Ленин? Нет. Никогда... Или взять меня, маршал.

Почему я требую вырыть — можно втайне от простых людей доброй воли, чтоб не

расстраивались они, — останки друга моего Лени и среди них опознать мою личную правую ногу? Потому что она там, и негде ей больше быть, кроме как там, с Ленею вместе. Вырой ты ее, и сразу тогда станет ясно, что не Вдовушкин стал неизвестным солдатом, а Байкин Леонид Ильич, чью фамилию ношу с 1941 года ровно в четыре часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война... Моя там нога. А иначе разве стал бы я заваривать такую неприятную для всех кашу? Я по совести желаю и по чести. Неужели же легче измываться тут надо мною, лекарств венгерских и восточногерманских изводить на меня целую кучу, электротоком трясти, на ветер его пуская, кормить, лекции про «Малую землю» читать и санитаров держать с тигриными рылами, чем на пару только минут вырвать из земли мою оторванную ногу, анализы взять костей и портянки, сравнить, одним словом, и сомнений не осталось бы насчет того, кто есть кто. И все. И никто передо мною виноват не будет, а буду виноват перед всем миром один я за укрывательство своего имени, измену Отечеству и переломанную тем самым судьбу... Подумайте...

Лежу я, значит, маршал, в окопчике, Лению по чистому, холодному уже лбу глажу... А боль вдруг засадила в культе, притекла, зараза, хоть вой, как собака, непонятно кому жалуясь. Мочи моей нет, ровно не кровь течет

от культи к мозгам через сердце и обратно, а боль, густая такая, свербежная боль.

Нет, думаю, от боли я помирать не желаю. От раны — пожалуйста, а с болью я свыкнусь. Нам к боли не привыкать. В НКВД, было дело, два месяца держали — шили попытку вымачивания картошки перед посевной с целью убийства урожая для голода в Москве. Картошку дурак пьяный из рабочего класса, дубина райкомовская — Втупякин, приказал вымачивать, ускорять по-большевицки цикл роста упрямых растений, а меня за него день и ночь колошматили, признаваться велели подобру-поздорову. Втупякин сам и пытал меня со своим дружкой из НКВД вместе... Бывало, в общем, и телу и душе побольней, чем в окопчике. Выдюжил. Выгнали. Прямо с печи с ребрами сломанными в поле погнали остатки картошки той изуродованной убирать.... Втупякину же, слух пошел, расстрел вышел сверху...

Не желаю от боли помереть. Сильней я боли. Ползу из окопчика, благо луна выглянула на чуток, и офицера немецкого различаю совсем рядышком... Ползу к нему в надежде и мольбе... Шмонаю ранец офицерский. Про боль забыл враз... В ранце фляжка, жратва, медицина всякая, трофейных орденов Ленина целая куча — на зубы золотые родственникам в Берлине...

Отступаю на исходный рубеж. Боль снова забрала вдруг, да так, что в беспамятство пару

раз погружался... Ничего. Дополз с Божьей помощью.

— Леня, — говорю, — как бы мы сейчас с тобой гужанулись, может, в последний раз перед новым, смертельным для нас боем. Смотри, друг. Вот коньяк, он не водка, конечно, клопами отдает, но закосеть можно. Вот колбаса наша любительская, врагом завоеванная, хлеб есть, Ленечка, сыр, масло, яйца, смотри, как запасся офицерик несчастный, словно к бабе в гости шел, а не на военную операцию. Отбили-таки мы у него кровную жратву нашу. Отбили, но с большими потерями, Леня...

Погиб мой дружок, помалкивает. Но Душа его поблизости находится, чую я это замечательно и поминаю вместе с нею Леню, друга моего фронтового, печально и светло поминаю, жахаю коньяк из горла.

Стихает боль. Слабо, но стихает... Ни звездочки на черном небе, ни звука на поле боя, лишь сердце стучит жарко, боль тупо топчется в жалкой культе... Один я, поистине один во всем мире, растерзанный проклятым военным железом, рваными его кусками...

А зачем я, думаю, растерзан? За что ногу я свою потерял? За то, что лобызались два бандюги, а потом тот, который поумней и позадиристей, приделал к носу тухлую морковку скотине несусветной — Сталину?.. Зачем я нахожусь в данный момент истории своей Родины не на кровати двуспальной рядом с же-

ной желанной, с красавицей моей розовой после баньки, сам — чистый и сильный, а в углублении валяюсь могильном, разве что не закопан только, и нет мне помощи ни от врагов, ни от своих? Зачем?.. Что же они — проклятые эти политики и вожди — в игры нас свои кровавые замешивают, сами в подземельях с бабами и дружками посиживают, по картам смотрят поля боев, а мы тут отдуваемся, по пояс в землю вбитые с оторванными руками, ногами и головами. При чем здесь мы?.. По какому такому закону жизни?..

Глотнул еще маленько — мозги прочистить от заковырочных вопросов. Да, говорю, Леня, видать, имеется суровый и глупый закон, по которому вожди проклятущие (почему ихним батькам вовремя дверью в амбаре женилки не прищемило?) — кашу вожди кровавую заваривают, а нам — беднягам — ее положено расхлебывать от века... На то мы, Леня, и солдаты, защитники. И если бы не мы, то кто за нас землю нашу невинную защищать будет? Вожди? Они, Леня, обдрищутся пять раз со страха и захнычут: «Дорогие братья и сестры». К нам, к народу, обратятся за спасением, и мы их, гадов, спасти вынуждены вместе с Родиной, потому что в Родину несчастную они все, как клещи, вцепились, особенно Сталин, и их уже никак от нее не оторвешь. А если бы можно было оторвать, то я бы, видит Бог, поначалу, до открытия военных действий, оторвал бы их, выкинул к чер-

тям на необитаемый остров, и пущай они там с Жульверном фантазируют, суки. Вожди — они, Леня ты мой бедный, на погибель и большую беду нам дадены, а вот мы вручены им на ихнее паразитство и спасение. Тут уж ничего не поделаешь... Судьба это наша, а главное — грехи наши тяжкие, как бабка говаривала, Царство ей Небесное... Повезло-таки старухе: перед самой войной померла... Вот мы лежим тут с тобой, колбасу любительскую у врага отбив, а также сыр и яйца крутые, и трофей взяв — коньяк, и на нас, Леня, вся тяжесть сейчас. Выдюжить надо во что бы то ни стало. Сначала фюрера, глистопера усатенького, к ногтю приделаем, а потом, может, и за друга его возьмемся, чтобы запел он да кучу в кальсоны наложил: «Где же ты моя Сулико?..»

Тут, маршал, хочешь — не верь, засмеялся я, как дурачок, и вдруг потрясло что-то душу мою грешную и бедную, веселье жизни ее, по всей видимости, потрясло, и запел я ни с того ни с сего, пьяный, разумеется, был: «синенький скромный платочек падал с опущенных плеч... двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война... порой ночной мы расставались с тобой... чувствую рядом с тобой... чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...»

Конечно, маршал, в песне про бабу говорится и как уходить от нее ночной порой неохота, но на самом, конечно, деле песня эта

про Родину, и не то что «широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...», а с душою, по правде сердца и без всякой враки комиссарской. Не знаю, кому до войны вольно дышалось. Небось, только падле усатой и своре евонных молотовых, калининых и кагановичей, а нам даже в колхозе вольно дышалось, лишь запершись в нужнике собственном... Ну, это ладно...

Пою, ожил голос контуженный, горланю во все горло, слезы текут прямо в рот, рыло стянуло грязью подсохшей, горе и боль разрывают все нутро, но что-то неудержимо поднимает душу мою из этого окопчика, страшно даже, чудесно даже, пою, однако, и пою, и внятно жаль мне Леню, и небо чернеющее, и себя, калеку, и Нюшку, Настеньку, Анастасию — жену молодую, непробованную как следует — двух дней не дал пожить Втупякин, военком проклятый, и гораздо больше, чем всех, жизнь мне вообще жаль, всю жизнь, что мы люди, сволочи, делаем с нею, во что мы поле превратили, зачем хлеб несжатый с костями смешали мы, с кровью, с плотью, с землей, зачем синенький скромный платочек, Господи, прости и помилуй, падал с опущенных плеч... строчит пулеметчик за синий платочек... идет война народная, священная война-а-а...

И что это? Слышу вдруг солдатское наше «ура», да такое богатырское, что, будь я вра-

гом, в тот миг непременно обдристался бы от ужаса.

Во тьме кромешной, в ночи, когда вроде бы сами фрицы умаялись вусмерть воевать, когда вроде бы судьбой самой выделено милостиво времечка маленько для передыху, поднялись солдаты и поперли, и чую я, что не Втупякин их гонит с тылу дулом в спины, а по личному почину «ура-а-а!» горланят и прут на врага уже неостановимо, потому что не дурак солдат «уракать» далеко от вражеской позиции.

Поздно было клевавшему носом фрицу-фашисту гоношиться. Поздно. Я и на слух понял, как там дело обернулось. Посочувствовал, грешен, немцу, ибо не могу злорадствоваться, когда даже врагу моему штык в пузо втыкают до кишок самых и изо рта его такой звук возникает смертный, что зверь содрогнуться может, не то что живой человек. А если не один десяток людей хрипит, стонет и крикает, попав на штык?.. Но и не лезь за чужим добром, скотина, сам виноват, небось в ранце у тебя наша колбаска валялась любительская, а не я за твоими сосисками с капустой поперся в Баварию... хрипи здесь, гад, в последнем покаянии и вине твоей передо мной.

Отыгрались, чую, солдаты наши за прошедшие в отступлениях и смертях страшные дни... «За Родину-у! Ура-а-а!!» «За Сталина» чтобы оралы солдаты — не слышать. Если б

не комиссары, солдат про эту рябую, разбойную рожу вообще бы на войне позабыл к чертовой матери...

Я, конечно, ору им вслед: «Братцы-ы-ы... братцы-ы-ы...» Молчок. Ни ответа, ни привета. Вдогонку бросаться за ними на последней ноге — не было во мне, маршал, такого героизма, виноват... Бог с вами, думаю, валяйте, раз прорвали окружение, я для вас — верная обуза, ярмо на шее, веревки на руках, сам выкрутиться из лап смерти мосластой попробую...

Солнце тут вышло. Заря. А от нее совсем поле боя чертовой багровой жутью застлало. Все багровое — пушки, трупы, танки брошенные, рожь полегшая. Земля, развороченная и выпотрошенная как бы до самого нутра, кровью истекает бесполезной... Из культи сразу боль в душу мою поднялась, один я — живая личность — на поле боя кровавом, и потом вдруг пришибло меня от стыда и позора.

Смотрю из окопчика на небо, на поле — и краснею, маршал, перед Всевидящим, как пацан перед батькой, нашкодивши чего-то. Краснею, взгляда Его не выдерживаю и чую, что наделали мы, люди, опять такого зла ужасного, опять наделали такого зла, непонятно, ради чего наделали и как это вообще могло произойти, что только краснеть остается и возжелать сей миг сквозь землю истерзанную провалиться, лишь бы не видеть дел

рук наших, непосильных для уразумения. Наверно, если б вторую ногу оторвало мне тогда миной, то легче было бы во сто крат: понес бы я наказание, точно зная, за что несу его, и, может, душа не скулила бы так безысходно... Вот как дело было на земле, а что такое Малая земля, я не понимаю. Скорей всего — луна, где жизни нет, одни оспины каменные, как на роже у Сталина... Но — ладно...

И вот со светом замечаю поблизости знакомую мне, родную вернее, ногу в сапоге, раскуроченном взрывом. Добрый был сапог.

— Леня, — говорю, — сапог мой — вона.

Совсем тогда рехнулся, позабыв, что Леня не откликнется, сколько его ни аукай.

Хлебнул еще для душка из фляги, пополз, долго полз, вертаюсь с ногой своей несчастной в руке. Все думаю, жить пора продолжать, других дел больше нету, слава Тебе, Господи, отвоевался парень, что-то его дальше, болезного, ждет?..

Не знаю, как уж тогда башка моя скумекала, что надо махнутья с Леной документишками — солдатскими книжками. Он ведь был один на белом свете, сирота, и у меня, кроме Нюшки оставленной, тоже никого не было. Только вот биография моя, как говорится, тянула меня, ровно камень под воду. Отец с большевиками в чем-то не столковался, учуял зверя, над народом нависшего, хоть и сам был большевиком поначалу, в Кронштадте зава-

рушку устроил, ну, ленинцы-сталинцы его и кокнули.

В школе, сами знаете, маршал, понимаете, жизни мне не было, травили, в техникум даже не взяли, не то что в вуз, а я ведь учиться ужасно хотел, голова была на плечах неплохая, толк бы вышел из меня. Не понимала этого дура зловредная — советская власть... В пастухах ходи, вражеский выблядок, яблочко от яблоньки недалеко упало...

Нюшку я за что полюбил навек? Выйти она за меня не побоялась. На всех харкнула с комсомолом вместе, с активистами, стенгазетами и прочей бодягой... Вот какая баба была, маршал.

Бес, конечно, тогда меня попутал, потому что понял, зараза, что совестливый человек на поле боя и перед Господом Богом глаза потупив стоит, грехам своим ужасаясь и людскому общему злодейству. Вот и надо его, следовательно, или, как Ленин наш выражается — «эрго», под монастырь подвести. И подвел, гад такой. Что ему стоит?

Я и взял размокший Ленин документишко, карточку сорвал. Свой же засунул ему за пазуху. А бес, как сейчас помню, нашептывает: двух зайцев сразу, дубина, убиваешь, советской власти пяточок поросячий к носопырке приделываешь, и Леня будет у тебя вечно живой, вроде Ленина. Что с того, что Вдовушкина как фамилию ты похоронишь? Сам-то ты ковылять будешь по белу свету, хоть и на од-

ной ноге. Леня же большое спасибо скажет тебе на том свете за живучесть имени своего... знаешь, сколько людей в петлю враз полезло бы; если б пообещали им, что имена ихние переживут надолго их самих после смерти, и не сумлевайся, Петя, Ленею будь...

Я и стал. Вот как было дело в натуральном виде, маршал, я и слова не соврал...

Простился с Леней, вернее, уже с Петей, с ногою своей простился, портянку, правда, прихватил, чего добру зря пропадать, а так пол-России скоро, судя по всему, немец отхватит сталинской роже благодаря...

Присыпал окопчик землю. Могилку как положено соорудил. Каску свою положил на нее, а Ленину на себя надел поверх пилотки. Изнутри касок фамилии наши были выписаны.

Помянул затем друга. До гроба, говорю, теперь тебя не забуду, милый мой, прощай, прости, извини, может, так лучше для живого человека при варварской власти будет? Царство тебе Небесное и моей правой ноге тоже, куда же ей теперь направляться, не в ад же кромешный? Прихвати, будь любезен, Леня, и ее заодно с собою...

Еще раз помянул. Огляделся по сторонам, чтобы место это не запамятовать. Ужаснулся вновь тому, что люди с землею натворили и с самими собою, и пополз в низинку костыль какой-нибудь из сука сообразить... Бой тем временем в стороне где-то идет...

Выжил, одним словом, чудом выбравшись из окружения и самой смерти мосластой еще раз хрена с отворотом показав.

Гангрена, по-моему, начиналась у меня. Думал — все, хана, лучше бы прихватило тебя тогда вместе с Леной, хоть рядышком лежали бы до Страшного суда...

Собака спасла меня, маршал. Такая же жалкая, бездомная, голодная и затравленная тварь, как я сам... Отмочил я тряпки кровавые, загноившиеся от культуры, в речушке чистой, смотреть боюсь на то, что от ноги моей правой осталось...

Вдруг собака подходит. Хвостом весьма печально виляет. Обнюхивает осторожно и тщательно. Не немец ли? Убеждается собака, что русский человек пропадает тут ни за грош, и просто так, ровно форменная медсестричка какая-нибудь Машка, Танюшка, Нинка, Тамарка, Катька, Царство им Небесное всем, принимается собака без долгих рассуждений, выполняя, так сказать, служебный свой долг, зализывать культу мою саднящую и внешне ужасную до отвращения и страха.

Шерсть на благородной псине в репьях, в грязище, брюхо подведено под хребтину от голодухи.

— Машка, — говорю, — накормлю я тебя сейчас, не бойсь, ежели выживу — скорей подохну, чем брошу, верь Пете, верь Лене. Леня я теперь, Машка, Леня, Леонид Ильич Байкин.

А она хвостом ободранным повиливает, глазами, как доктор из-под очков, поглядывает на меня и зализывать культю не перестает.

Чем бы, думаю, накормить мне Машку? Тащусь в лесок, потрепанный боями. Нога подгибается, башка кружится, подташнивает от слабости, но тащусь. Не для себя же, в конце концов, стараюсь, а для собаки голодной. Машка за мной робко тянется, поскуливает от тоски собачьей, припугнула чертова война не на шутку тварь Божью...

В лесочке же ни вздоха живого ни на ветвях, ни под кустиками.

— Выходи, — говорю, — барсуки-суслики, из бомбоубежищ, пожертвуйте собой ради человека и собаки. Галки, вороны, сороки, куропатки, куда вы запропастились все?.. Тихо. Только комарики позуживают, на нервы, как самолеты, действуют... Беда... Война... Смерть кругом... В двух гнездах упавших птенцы полуголые, дохлые лежат, и глаза ихние приоткрыты, как у людей, посиневшими веками... Тошно было птенцов предлагать Машке, да она и сама есть их не стала, только обнюхала издали и вздохнула от тоски так, что сердце у меня, ко всему прочему, закололо... Что делать, как Ленин наш говорит, когда ему жрать охота... Брусника, ежевика и малина в зарослях — не для Машки еда... Хоть возвращайся в мясорубку на поле боя и неси собаке кусок человечины, елки зеленые... Это я так от безвыходности подумал и от тоски. Были такие

собаки в войну, что бесстрашно околачивались около трупов, в ранцах солдатских и офицерских жратву отыскивали, но Машка была иного рода личность. Она войну по-человечески переживала... Погибла она на моих глазах от этого... Что делать? Знал бы, что встречу ее, придержал бы колбаски и сыра с булочкой...

Но если Ленин при таких обстоятельствах в уныние впадает и не знает, что делать, то Машка распорядилась умнейшим образом. Села, нос кверху вытянула, облизывается и меня приглашает взглянуть туда же.

Там чуть не на макушке высоченной сосны сова сидела, дрыхла себе, как всегда, в дневное время... Не она ли над полем ржаным этой ночью носилась? Лишнего страха нагоняла, стерва.

Снимаю из-за спины винтовочку свою. Помехой она, конечно, была для меня, но и без винтовки на безобразии можно нарваться при встрече с нашими... Где твое боевое оружие, дезертирская харя?.. Такой у вас разговор был, маршал, с несчастным солдатом, прорвавшим окружение. А вы его в расход пускали за потерю винтовки, чтобы другим неповадно было, по приказу Сталина...

Снимаю винтовочку, а сил вскинуть ее, как некогда, словно пушинку, прицелясь немцу прямо между рог, нету, чую, таких сил в слабых мандражащих руках... Кровушка-то потеряна, душа от горя и страха истомилась в лос-

куток, и коленка единственная подгибается, да еще приходится, чтобы не завалиться на глазах у Машки, равновесие придержать, опершись о дрыну, из орешины вырезанную.

Сажусь на пенек... Не промахнись, Петя, то есть Леня, не то слетит сова и подохнет с голоду подруга твоя фронтовая — Машка... Тяжесть в винтовочке, как в болванке стальной, дрожат руки, глаз слезится, взрывом пораженный, но стреляю в бешенстве от своего бессилия, мать его, маршал, разъети... Фу ты, Господи, падает в траву сова, даже крылья от неожиданности не успев растопырить. Сова, конечно, не гусь и не курица. Тошно было ее ощипывать и потрошить, но пришлось и через это в жизни пройти... Всего я в ней, честно говоря, ожидал, но чтоб ощипывать сову?.. И по пьянке в голову не влазила такая муть...

Костер сообразили. Чего уж жрать сырое свиное мясо поряточной собаке? Припалил я его как следует... Жрет благодарно. Пошикиваю, чтоб не давилась от безудержной жадности... И сам вдруг слюнки пускаю. Поделись, говорю, Машка, жизнь и во мне надо срочно поддержать. Подносит в зубах. Я и заплакал от жалкости нашей и полной невинности в происходящей с людьми и землею нашей подлости, а также от ярости на двух немислимых вождей.

Вот, говорю, Машка, Сталин нам перед выборами говорил, что до коммунизма рукой подать, что расцветут скоро в пупках наших

сытых вечные фикусы, а мы не работать в основном будем, а петь, плясать, мечтать и помогать другим закабаленным народам всего мира, чтобы и им как можно скорей дойти до нашего чудесного состояния... Но что мы видим вместо фикусов в пупках? Видимо, мы петь еще вроде бы можем, а плясать... на руках будем, дай только с фашистом сладить... Совиным мясом сонной ночной птицы обернулся нам с тобою, Машка, коммунизм рябой отвратительной хари, приятного тебе аппетита, сестрица...

Зря, думаю, ты собачью порцию, Петя-Леня, отполовинил. Все одно подыхать тебе от гангрены антоновой. Генералы и то от нее подыхают как миленькие, а ты и подавно загнешься. Мог бы и в чистом виде помереть, странным на вкус мясом не оскверненный... Мало я верил в спасение, плоха больно культя моя была, очень плоха...

Но вот день один проходит, потом второй, третий, Машка сама время процедур чуяла, неделя проходит, позуживает приятно культя моя, выглядит гораздо приличней, жара нет во всем теле, опухоль с колени спала, а еще дней через десять стал я, ровно в детстве, попацански корочки с раны заживающей отколупывать... Кость, главное, затянуло рваной моей кожей...

Машка, говорю, ты ведь не собака, а хирург первого класса, Бурденко четырехлапая,

век тебя не забуду, жизнь тебе постараюсь, несмотря на тяжелое положение Родины и народа, справить и письмо, пожалуй, накатаю Сулико — вонючей мандавошке, чтобы собак на фронте не под танки бросали, толку от этого все равно никакого нет, только Ворошилову тупому лишний орден Ленина повесят, а чтобы вас в медсестры пристроили на крайний гангренный случай... Спасибо, дай поцелую тебя в бедный нос, псина... Залилась тут Машка откровенно радостным лаем, а я замурлыкал, как всегда: «синенький скромный платочек...»

Вы, маршал, не смущайтесь, что я прерываюсь иногда. Черти — Маркс и Ленин — к бумаге рвутся, в считалочку играют, кому первому писать: «Троцкий, Сталин и Гондон сели все в один вагон и поехали в Тифлис разводиться там си-фи-лис. Раз, два, три — это будешь ты...»

Сейчас Марксу повезло, а я пойду покурю, отдохну, время три часа ночи, тоска на душе мрачная, но и надежда ее не покидает, что установите вы в конце концов истину военного времени и дадите человеку побыть хоть немного самим собой... завтра перейду к заключительной половине моего темного дела... поскольку выговорился и реже плачу от каменного невнимания к моим правдивейшим заявлениям. Не плачу, но и не пою. Сил нету петь. Допелся суслик...

1917-му КОМИНТЕРНУ

Не ирония ли это, товарищи, что я вынужден драться за каждый листок своей истории болезни, повторяющейся дважды: первый раз, как трагедия, второй — как нелепый фарс? Только провонявшие насквозь жигулевским пивом и советскими сосисками бургеры не понимают причины перерождения в СССР святой коммунистической доктрины в окостенелую структуру праздного существования партийной, военной и жандармской элиты и охрану ее от недоумения народа. Если написание «Капитала» было трагедией, то перевод этого труда на русский язык, который я начал было успешно изучать, является несомненным фарсом. Если бы перевод назывался не «Капитал», а «Состояние», что соответствует психофизиологическому восприятию капитала вообще не быдловым, а аристократическим сознанием русского человека, то развитие пресловутого движения за освобождение рабочего класса России, безусловно, пошло бы другим путем. Чистые и романтические принципы молодого Маркса мерзкая личность герра Ульянова ухитрилась вывалить в кровавом дерьме настолько, что их реабилитация представляется мне при самых оптимистических прогнозах делом второго цикла человеческой истории... Состояние в себе, как таковое, безусловно, первичнее капитала — для нас. В чем глубочайший смысл польских собы-

тий? В гангрене власти, в дошедшем до очевидной ручки противоречии интересов власти посредственных тупиц и нравственных дегенератов с интересами широких трудящихся масс. Тем более в последнее время рабочему классу стало ясно, что ни о каком превращении труда в капитал не может быть и речи, если объективированный труд не инъектируется калорийными продуктами питания. Иными словами, для того чтобы произвести прибавочную стоимость, пролетарий должен есть мясо, масло, молоко и прочие продукты сельского хозяйства. Ничтожный недоучка, безграмотный философ и некультурный параноик Ленин просит Коминтерн признать вторичность продуктов питания в классовой борьбе с перенесением главного акцента внимания партии на вопросы идеологии. Нет. В организме человека базисом являются господин Желудок и мадам Печень, а надстройками — идеология, инстинкты труда и осознанная необходимость искусства. Поэтому: пролетарии так называемых соцстран, соединяйтесь в поддержке общенародных интересов рабочего класса Польши, Господин Улья...

Лаврентий Эдмундович.

Не пора ли прекратить эту заразную игру в меньшевистские бирюльки с молодым Марксом? Никаких послаблений. Ни в коем случае не гладить по головкам этих господ, не вы-

державших испытание временем. Только бить, бить и бить. В этом залог нашей победы над легальным младо-марксизмом... И перестаньте вы, батенька, закупать у империалистов хлеб для нашего рабочего класса. Неужели вам не ясно, что разрушение объективно кризисной ситуации внутри всего социалистического лагеря не в ублажении желудков разуверившихся в нашем деле двурушников, а в активном развитии хаотических моментов экономики Запада и Японии, а также в поддержке любого **терроризма** (выделено мной. — В. Уле.), дестабилизирующего и без того разболтанную структуру капиталистического общества, в импортировании наркотиков, во всяческом развитии оболванивающей пролетариев всех стран культуры, в провоцировании роста преступности и расовых конфликтов, эрго — расшатывании оснований прогнившего общества насилия и эксплуатации.

Нам необходимо перенять у поповщины практику перехода на постную пищу вплоть до аскезы перед революционными праздниками. Причем количество этих праздников необходимо увеличить вдвое и даже втрое. Постные дни, недели и месяцы существенно укрепят наши стратегические наступательные силы. Почему мы продолжаем отдавать народ — эту движущую силу истории — на откуп поповщине? Или всенародный пост спасет советскую власть, или недостаток мяса, масла и зерна ее погубит. Все на борьбу

с аппетитом, который, по словам великого Демокрита, приходит необходимо во время еды. Прошу срочно переименовать «Правду». «На боевом посту» — лучшее название для данного истмомента.

Ох, батенька, не нравятся мне эти польские настроеньица.

Поздравьте Хафеза Амина с приходом к власти после Тараки-какаки (смех мой. — Влиуль.). Очень симпатичный афганец. Просто — глыба. Матерый человечиче.

Правда ли, что Москва наводнена бандами ходоков, разбазаривающих продукты рабочего класса столицы? Всех — под трибунал. Чем меньше ходоков, тем меньше едоков. Неужели вы забыли простую арифметику классовой борьбы, товарищи? А главное, санитары регулярно бьют меня по головке, по головке, по головке, по рукам, по ногам, по настоящему, по мудрому, по человечьему, по ленинскому огромному лбу. Иногда хочется все бросить к чертовой матери и лечь на свое место. Но мы дотянем, мы дотянем до конца предыстории человечества. Основное — наполнять наркотиками западный мир. Пусть пребывает под наркозом, пока мы удаляем из человечества раковую опухоль частного предпринимательства — этого мощного тормоза на пути к коммунизму. Не забывайте, что до Него социализм — это учет недовольных и инакомыслящих с последующей изоляцией их от общества. Дайте, наконец,

*санкцию на ликвидацию Маркса. Ваш Ленул...
Бросьте...*

Беда, генсек, с этими твоими деятелями. Фридриха и Сулико — однодельцев ихних — только здесь не хватает... Маркс до чего дошел? Пасту зубную из пяти тюбиков выжал, в кружке развел чайком и хлобыстнул, не крякнув даже.

— Кайф, — говорит, — очень сейчас хочется не переделывать мир, а объединять и тискать алкоголический манифест. Ну а если уж переделывать мир, картавая сковородка, то не твоими грязными руками, а, по крайней мере, силами социал-демократов и прочих партий народного благоденствия и защиты традиционной морали. Чего ты, как хореk, возненавидел весь мир, если у тебя братца ухлопали? За дело ведь повесили, а не просто за калмыцкий глаз, на царя ведь, сволочь, руку поднял, а не на какого-нибудь поганого инструкторишку райкома твоей дегенеративной, фантомальной партии... Об этом ли мечтали мы ночами с Фридрихом. Какое счастье, что он не дожил до такого невыносимого позорища. О, если бы можно было начать все сначала, пошли бы мы с ним вместе совсем другим путем. Где моя молодость?

Вот тут, маршал, начинается главная катавасия. Мы за животы с диссидентами и с Колумбом от смеха хватаемся, только Самосов сидит и как бы продукты людям отпускает.

Мания величия у него застарелая: директором Елисеевского гастронома в Москве себя воображает. А я думаю так: если бы он на самом деле был директором, то и сидел бы в данный момент у себя в кабинете, а не на казенной ко- ечке, как и я. Потому что если бы я был натурально Байкиным Леней, то я в земле сырой находился бы, и надо мной огонь негасимый горел бы синим пламенем с розовым венчиком, и вдовы безутешные лили бы слезы по сгинувшим без вести мужикам, и матери старые-престарые, выплакавшиеся до душевного донышка, устилали бы мое каменное надгробие ромашками и колокольчиками... Ну а Ленину если верить, то когда бы выполняла партия все его мысли и мечты, то капитализма не было бы уже на всей планете и люди сытые и свободные гладили бы друг друга по головкам, работая исключительно по желанию и беря в открытых распределителях все, что душе твоей коммунистической угодно, вплоть до птичьего молока. А на каждом столбе висели бы чучела бывших банкиров, зав. корпорациями, монополиями, чучела Картера, Рейгана, Садата, Сахарова, Солженицына и прочих менее значительных врагов коммунизма, вроде перебежчиков балерунов и шахматистов. И лилась бы, не смолкая по ночам, нечеловеческая музыка советских композиторов из громкоговорителей и с тех же столбов. Сам же он — Ленин — лежал бы на своем законном месте, где сейчас враги и пе-

рерожденцы незаконно распластали труп проходимца какого-то, скорее всего, по прикидкам Ленина, палача и сволочи гнусной Ежова Николай Иваныча, потому что пропал он в тридцать восьмом году бесследно и нигде, кроме как в Мавзолее, не мог по распоряжению Сталина расположиться...

И у Маркса молодого — одна и та же песенка. Капитал надо понимать как состояние, и тогда не будет никакого в мире бардака и власти бескультурных динозавров, вроде тебя и твоих дружков, маршал. Мне эти слова непонятны, ибо я не имел никогда ни капитала, ни состояния.

Одним словом, с обоими не соскучишься. Вот я пишу сейчас, а они сцепились вновь. Теперь Ленин в ответ вопиет:

— Ты приставал к Наденьке на Пражской конференции! Дело о твоих педерастских отношениях с Фридрихом было первым делом нашей партии, но его скрыли от пролетариев всех стран. Нонсенс... Ты продался, подлец, социал-демократам за чечевичную похлебку... Ты ведешь из-под койки провокационные радиопередачи в предательскую Польшу, чтобы проклятые забастовщики — враги партии и власти — вспомнили про прибавочную стоимость и права пролетариев. Прибавочная стоимость, батенька, кончилась, с вашего позволения, в 1917 году, в октябре месяце по-старому и отныне вся до копейки идет на развертывание народно-освободи-

тельных движений во всем мире и на дальнейшее насильственное расширение сфер нашего влияния. Я тебя теперь глушить буду, и плевали мы — большевики — на заключительные акты, мудро подписанные нами в марионеточной Финляндии... Ву-у-у-у-вы-ы-ы-ы-ввв-а-ав-ав-ав.

А Маркс наш запрещенным приемом пользуется. Тихо так и вежливо заявляет:

— Нет, никогда мы, конечно, не придем к победе коммунистического труда. Жамэ, меся Ульянкинд.

— Придем. Придем. Придем. — Кулачками Ленин по тумбочке забил и ножками засучил очень нервно. Жаль даже человека. Лицо у него в такие минуты становится больно несчастным и пацанским. А я думаю, что это за зараза такая в головах у того и у другого с поражением всех остальных первоначальностей души? Что это за напасть такая дьявольская, что из-за нее ни нам, русским, ни полякам, ни евреям даже и афганцам житья нету вот уж седьмой десяток лет? На кой хрен нам все это надо? Почему кормят нас насильно мерзопакостью этой, как диссидентов в голодовку, если мы уже из души выbleвали и социализм и коммунизм, а желудки, животы наши такой тухлой требухой не прокормишь...

Опять драка. Маркс — тот посильней и помоложе. Пригибает голову, промеж колен зажимает ее и «селедок» с оттяжкой выдает

Ильичу по жопе сохлой. Крик. Шум. Втупякин пьяный из процедурной приперся. Гной в бесстыжих глазенках... В карцер обоих... Чудом меня со стыренной историей болезни не засекли. Думать страшно, что тогда было бы... Страшно... А зачем шуметь из-за идейных разногласий? Не надо. У нас тут не то что на воле — думай в любом плане и в любом разрезе, но режима не нарушай. Раз есть такое право — не шуми, хотя это право из нас разной нечистью в таблетках и шоками...

Вот человек, сосед мой по койке, Степанов Ваня. Что ему Втупякин толкует? Пока, толкует, не поверишь, сволочь, что советские профсоюзы — школа коммунизма, а польские — махрового капитализма, не выйдешь отседова, сгниешь с потерей диссидентской своей личности и обретением новой — хорошей, любящей партию, правительство наше родное, КГБ и ВЦСПС. Такие мрази, как ты, Польшу от нашего лагеря отторгают пятый раз за всю историю этого блядского государства, норвящего укусить мать-Россию в щедрую грудь. Брюхо свое шопены и мицкевичи всякие выше социализма ставят... Понял, гад народа, медицинскую мою истину?..

Что же это такое, генсек? Все мы правды, только лишь правды добиваемся здесь. Я — чтоб самим собой перед смертью стать. Ленин — чтоб его заместо ежовского чучела в Мавзолей, можно сказать, личный вернули. Карла желает от души Гегеля своего с головы

на ноги опять поставить, потому что они тогда с Энгельсом погорячились и промазали слегка. Гегель-то, оказывается, на ногах стоял, и перекантовывать его вовсе не следовало.

Или Степанов. Справедливо человек чешет, что нету у нас никакой диктатуры пролетариата, что раб он, загнанный до скотства за шестьдесят лет, и что все вы там в Кремле и на периферии в обкомах и райкомах — кучка сумасшедших туподрынов, изолгавшихся и заплесневевших в крепостях, охраняющих вас от народного взгляда. Разве ж не так, генсек?..

Или взять Гринштейна. Самолично книгу сочинил человек и в ней доказывает, что Конституция наша — самая справедливая как бы в мире — нарушается на каждом шагу. Факты у него в руках, а не трепня. Он же и тычет вам вашей Конституцией в носопыркалки и вежливо просит выполнять ее — и ничего больше. Не прав он, что ли? Человек сам книгу сочинил от большой души, болеющей за твою же советскую, по глупости, власть, а его — в дурдом, тогда как вы сами наболтали всем давно известную историю про войну бригадушке шабашников продажных и премию за это отхапали внаглую с золотым оружием. Думаете, Ленин не раскрылся нам за сто грамм конфет «Вперед», как оно дело было, как политбюровская шобла целую неделю обрабатывала беспрецедентно своего скромного и простого Ильича, пока не дал он

согласие на премию вам в сто тыщ? Вы ведь самого Сулико в этом деле за пояс заткнули. Тот уж на что охамел в сосиску, а премий Сталинских себе не присваивал, воздерживался, стеснялся, видать, народа и Черчилля с Трумэном.

Это у вас, генсек, мания величия и преследования, если вы Степановых, Гринштейнов и меня с Карлой в дурдом упрятали. Ну, Колумб — хрен с ним, спятил действительно человек, доказывает, что он Америку открыл, но сообщить об этом в Москву, в ЦК не мог, так как тогда не было еще телеграфа... И Ленин, на что идиотик, а прав, что если бы вы его захоронили, несчастного, по-настоящему, на все века вперед, то не было бы в стране у нас никакого бардака в тяжелой промышленности и в сельском хозяйстве... Ну ладно. С вами насчет этих дел болтать, что гороха нажраться — в брюхе бурчит, а правды нигде не добиться. Вот как...

В общем, захоронил я тогда Леню и ногу свою правую. Как плакал над ними — один Бог небось слышал... Салют, помню, дал из винтовочки, хотя внимание привлекал вражеское. Плевать на вас, думаю, нельзя хоронить солдата и друга без воинской почести... Прощайте, дорогие, вечная вам память, вечная вам слава за все хорошее, что сделали вы для меня лично и для Родины нашей, попавшей под два ярма — большевистское и фю-

перовское. Могилки вашей век не забуду, не быть ей без цветочков, без яичка на Пасху и булочки белой в родительский день. Клянуся...

Собаку, кстати, что жизнь мне спасла, а главное — вторую ногу, я тоже не забыл. При госпитале Машка кормилась. Променял я ради спасения живой твари верность своей Нюшке, Настеньке, Анастасии, променял. Врачиха одна пожалела из-за меня собаку.

Я ведь очень красивый мужик был. Очень. И неиспорченный, не то что ты, маршал, самолетных проводниц, Маркс рассказывал, невинности в тамбуре прямо лишаешь. А я красивый был и благородный. Охочий до баб, не калека ведь, но не жадный. Так, на шашлык лишь бы, как говорят, посадить никогда не старался. Я все больше из жалости да из уважения имел бабенок. О любви что говорить? Была любовь и сплыла... Тут плачу... не могу... плачу... кружочками слезы свои обвожу... прости, маршал, на «ты» давай, ничего с собой поделать не могу, аминазин не помогает... плачу... все загубил... славу Ленькину и свою заодно... Нюшкину, Настасьи, Анастасии моей любовь... все... не успокоюсь, пока Гегеля, как говорится, на ноги не поставлю с головы нынешней... плачу...

Вот и охраняла из-за меня врачиха Машку и, разумеется, прикармливала. Раненые некоторые, калеки, до того обозлены были на весь белый свет, что костылямиогревали иногда

ни с того ни с сего бедную собаку и сестрам нервы выматывали.

Одним словом, вмазалась в меня врачиха. У самой, как говорится, одна нога была короче, другая деревянная была, но лицом — ангел. Натуральный ангел.

Вижу, личность мою возжелала весьма, но млеет лишь неуверенно, трубочкой чаще, чем надо, грудь мою прослушивает, контузией, говорит, шибануло ваш организм, Леонид. Массаж груди самолично совершает. Дышит с придыханием, волосы эдак скидывает с формом, вмазалась, одним словом.

Ну, поговорил с ней сначала о собаке, а потом в кабинете стали запираяться в ночные врачихины дежурства. Я и сам ожил немного от войны адской, хоть из-за измены жене своей сердечно терзался. Разрывается просто сердце от вины и тоски...

Немца меж тем от Москвы отогнали еще дальше. Деревню нашу освободили. И вот тут первый раз схватил меня страх и сожаление, что изолгался я донельзя. Но ведь Ньюшку вызывать, пояснить ей все в открытую, она же поймет, что с моей фамилией дороги никуда нету, но только в тюрьму, что Сталин, как разделается со своим лучшим другом, так еще больше озверееет и за недосаженных примется, в чем я не ошибся, между прочим.

Пишу письмо в сельсовет свой хитроватое. Так, мол, и так, друг я Вдовушкина фронтовой, который Петр из вашего сельсовета.

Потерялись мы в окружении, сам я ранен и теперь без одной ноги с контузией всего организма, имею кое-что передать жене его Анастасии, ответьте, жду...

А врачиха притормозила меня в госпитале, хотя я уже прилично оклемался, рыло разъел от гостинцев своей полубовницы, ничего, думаю, война это, Нюшка, не обижайся, я, может, мужика таким образом для семьи нашей спасаю, чтоб не зафлиртовать окончательно, так как дистрофиком из окружения вышел, случайный кусок хлеба или картошку Машке-спасительнице отдавал, иначе околела бы она.

Жалею врачиху. Девушкой она до меня была, думала, что по хромоте и общей некрасивости фигуры так и не пройдет вовек в дамки. Но вот прошла же... Это я к тому, что надежды никогда терять не надо...

— Любишь, — спрашивает меня, — Ленечка милый?..

— Как тебе, — отвечаю, — сказать? Скорей всего, временно симпатизирую с уважением и фронтовой лаской.

Плачет врачиха, но целует меня до потери сознания, спасибо, говорит, за правду, Ленечка, спасибо и за то, что ты есть у меня на войне среди горя, крови, подлости, мужества и безумия... Все, поверь, счастье мое в тебе, и жизнь без тебя я вторую жизнь считать буду, добавочной, умирать соберусь когда — за одного тебя спасибо Богу скажу, если Он есть...

Естественно, попала врачиха моя. Доложила по глупости и честности начальству. Но и рада была до остервенения. Есть, шепчет мне, Бог, есть, если посреди исторической скверны, в костоломке и воплях растерзанной народной плоти, в слезах наших и бесконечной униженности зачинаем мы с тобою, Леня, новую жизнь... Леонида Леонидыча тебе рожу и ни словом не упрекну в вечной разлуке, радость моя случайная...

Ну а Втупякин, начгоспиталя, аборт велит врачихе — имя я ее тоже позабыл от контуженой памяти — срочно и безоткладно делать любыми средствами. Расстрелом грозит, гад... Она — ни в какую. Здесь, говорит, рожу, на рабочем месте, и на все меня хватит: на войну и на дитя любимого человека. Война, говорит, не отменила жизни, а лишь изуродовала ее... как и советская власть...

Последние слова, правда, она исключительно мне говорила, в обнимку, в холодном врачебном своем кабинете, любя меня, жеребца беспардонного, всею душою...

Давит Втупякин и на меня, и на нее пофашистски, с человеческим смыслом случая не желая считаться. Из себя выходит. Кишку у падлы защемило оттого, что счастлива баба, а мужик у ней очень красив даже в безногом виде. Не Гитлер у него, у сволочи, враг теперь, а бабенка и раненый солдат, не служебные заботы насчет бинтов и ваты его одолевают, но ненависть какая-то глухая к тому, что к

жизни имеет касательство... Уймись, говорю, говарищ Втупякин, Сталину все известно насчет фронтовых подруг, и не давал он приказа новое поколение людей в абортах ликвидировать. За аборты нынче из жопы ноги выдирают у тех, кто на них подталкивает. Понял? И не будь вредителем материнства в нашей стране...

Отстал немного, на комиссии меня задержал, но спасала меня от них врачиха с анализами, хоть Втупякин до пены в зубах крысиных доказывал мое моральное разложение и что я здоров, как бугай...

И вот тут-то телеграмма, что странно в военное время, приходит мне из сельсовета. Вот какая ужасная телеграмма:

ОТВЕТ СООБЩАЕМ ВДОВУШКИН ПЕТР
СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ СОГЛАСНО ПОХО-
РОНКЕ ВДОВУШКИНА АНАСТАСИЯ ПО-
ГИБЛА ЭШЕЛОНЕ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА ГО-
РОД ПОБЕДА НАМИ ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА/
ПОЛЯКОВА.

Читаю телеграмму и валяюсь на пол в корчах и истерике, бьюсь головой обо что попало, подохнуть желаю на месте, и нету снова в глазах моих света, а в ушах звука — контузия вернулась... Связали... Лежу где-то в тишине и в темноте, не помер ли, прикидываю. Очень уж похоже на смерть, как бабка Анфиса обрисовывала. А она раз пять за свою жизнь по-

мирала от всяких бед и болезней. Очень похоже на смерть: болит то ли тело, то ли душа, а кругом ничего не слышно и не видно... Потом руки врачихины почуял... Если б не они, может, и загас бы я тогда от тягчайшего горя, словно свечка на печальном сквозняке... От рук врачихиных, как вода в горло, жизнь в меня тогда возвращалась. Оживало все в нутре и снаружи... Но как руки-ноги обмороженные свербят невыносимо при отогреве, так и душа ныла от возвращаемой жизни. Невтерпеж...

Голос вернулся вновь, а в глазах забрезжило, звуки до ушей донеслись.

— Ковырни, говорю, пока не поздно. Я от тебя не отстану, проблядь уродливая. — Втупякин это давить продолжал на мою врачиху.

— Аборта делать не буду. Хватит и без него смерти вокруг. Ясно? — Это она ответила.

Заскрежетал я зубами на Втупякина. Встать, на его счастье, не смог...

Подходит тут она ко мне и радуется, что не бессмысленный у меня вид... Вечером в кабинете спирту она из загашника достала, налила мне, пей, говорит, Леня, что ж теперь делать? Война, родимый...

Ударила мне пьянь в голову, зло взяло, показалось, что возрадовалась врачиха такому повороту судьбы с Нюшкиной гибелью и что я, следовательно, теперь в руки к ней пе-

рехожу со всеми потрохами. Куда ж мне деваться?

Ну, я и психанул, сорвал зло на невинном человеке, как это всегда бывает у обормотов вроде меня, сорвал... Много бы сейчас отдал, чтобы не было тогда хамства этого с моей стороны... Я что, подлец, заявил, хоть и понимал, что сам тому не верю? Ты, говорю, не улыбаясь. Думаешь, теперь я твой навек, если вдовым остался? Выкуси вот и снова закуси. На чужом горюшке счастья не выстроишь, врачаха... А ты прости меня, Нюшка, Настасья, Анастасия, прости блуд прифронтной и бессердечную измену супруга своего — подлеца высшей меры, кобеля проклятого... Что ты, говорю, уставишься на меня, ровно давно не видала? И не гляди в мой адрес, яду мне налей, чтоб заснул я и во сне отдал концы, жить не хочу, кончилась сила жизни... Я тебя не люблю, а так встречаюсь, в шутку...

Ни слова в упрек не сказала врачаха, но побелела лицом и отстранилась от меня душою. Почуял я тот холодок, спьяну отмахнулся от раздумий и еще стакан чистого врезал, родил именно в тот раз в себе алкоголика. Это точно. И поплыл, повеселел — море по колено, горя-беды не видать, синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...

Уснул в слезах и слюнях... Больше мы с ней никогда не спали. Она не желала, а я не

настаивал. Не тем душа была занята, маршал, не то что у тебя с телефонистками и шифровальщицами...

Что же делает тогда Вступякин? Поначалу меня, сатана сущая, выписывает и в колхоз направляет вместе с Машкой. Протез, говорит, почтой тебе пришлю, кобель. Протеза калеке не дал, враг и палач народа, дожждаться. Чем он лучше Гитлера? Того хоть сожгли — и нет его. А ведь этого пакостника, эту мразь ничем не изведешь.

Простились с врачихой по-хорошему, писать, говорю, тебе буду. Не пиши, отвечает. У меня у одной на все сил хватит, а любить, слава Богу и тебе, есть кого. Только бы родить. Леня... прощай, не спивайся, спасибо тебе... прощай...

И тебе спасибо за меня и собаку... Такой у нас разговор был...

Документишко мне чистый выправили, жратвы на дорогу дали, врачиха четвертинку напоследок в карман сунула, и направился я в один обком за направлением. Хотелось мне поближе к Лениной могилке. Для своей деревни я теперь умер, погиб как бы смертью храбрых. Решил новую жизнь начать, как говорится, с погоста... О ней немного погода, маршал.

Пишу из колхоза письмо дружку по палате. Ему все, кроме руки левой, оторвало и мотню задело. Приезжай, пишу, плюнь на свою бабу, раз она от тебя такого отказалась. Значит, сука

она, так и так, и все равно скурвилась бы от тебя впоследствии, будь ты хоть с двумя парами рук и ног и с запасной женилкой. Приезжай, друг, баб тут у меня под рукою — тыща, найдем порядочную и неприхотливую, будь уверен. Тут такие имеются вдовы, что им лишь запах наш мужеский необходим, а на остальное начхать... И как там врачиха моя? И что с ней и с ребеночком в животе? Ответь, друг, я перед нею виноват душою... Пишу другу, а сам от общей сиротливости плачу, как вот сейчас, и кляксы все обвожу кружочками и обвожу...

Ответ вскоре приходит в треугольничке... Слушай, маршал, и сотрапезникам своим передай, может, обомрут они от немыслимого, от того, от чего сейчас гирями мне в затылок колотит и глаза затягивает гарью...

Вот что совершил Втупякин. Он бить стал врачиху мою в кабинете. Бил сапожищами по брюху, по животу живому, палач, плода человеческого не жалея нисколечко.

Волосы у дружка моего аж дыбом стали — так слезно молила врачиха Втупякина остановиться и одуматься, неужели же нет в нем ничего душевного и сердечного, ведь звери даже не позволяют руку свою поднять на мать и дитя... Но где там!..

— Я, — орет дьяволина, — двух своих выбил так вот точно из своей бабы на случай развода, чтоб алиментов не платить, а твоего изведу непременно, потому что, ко всему про-

чему, по науке, он безногий должен родиться... На фронте кадров не хватает. врачебных, сука кривобокая, туда же лезет с любовью, нам дети прямые нужны, я тебе покажу любовь, шалава грешная...

Все это дружок мой слушал и другие калеки тоже, да что ж они могли поделаться без рук, без ног и все лежачие?

Конечно, и выкинула врачаха моя тою же ночью... Беда... Седая вся враз сделалась. А может, и с ума сошла. Долго ли, маршал, с ума сойти от такого зверства?

Подходит на другой день к Втупякину, обход был, и говорит:

— Фашизм надо уничтожать на фронте и в тылу. Смерть фашизму.

ТТ твердо держит врачаха моя в ненавидящей и справедливой руке.

Втупякин в ножки ей бросается. Исключившись весь от плюгавого страха:

— Помилуй... еще десять родишь... что с того... ради фронта я исключительно... я тебе и сам всегда могу... не сумлевайся... не стреляй... под расстрел угодишь... жить, что ли, надоело?

— Фашист ты советский, мразь на нашу голову и проклятье за грех братоубийства и бунта... Смерть тебе, падаль, — говорит врачаха моя. Всю обойму всадила в Втупякина, чтобы на пять пуль он поскулил и помучился, осознавая зверство собственное, чтобы от шестой подох под «ура-а-а!» солдатское, седы-

мую пулю в сердце себе выстрелила... Вот и все, маршал, по этому пункту... Слезы даже течь перестали. Вытекли они полностью. Но уж что-что, а слезы заново опять наберутся... и Ленин как оглашенный ручку рвет, мыслей поднабрал... не терпится ему выговориться...

СРЕДНЕФЕВРАЛЬСКИЕ ТЕТРАДИ

Считаю, что работа, проведенная нашими спецорганами по расколу общественного мнения планеты, близится к закономерному концу.

Мы — неискоренимые диалектики. Наш прямой философский долг — поощрение всяческого расцвета либеральных движений вне страны, особенно в развитых до абсурда странах Общего рынка, и уничтожение, сиречь сведение на нет, последних внутри социала. Польша, Монголия, Никарагуа.

Господа либералы, а не мировой пролетариат, заевшийся на капхарчах, являются в данный истмомент повивальной бабкой мирового хаоса.

Они едва ли не единственная наша надежда в борьбе с активными силами сопротивления коммунизму, связывающая им (силам, примеч. верно. --- ВУ.) руки различной тепленькой чепуховиной и архирелигиозным отношением к политической морали. Какая, спрашивается, может быть мораль в том грязном аду, в котором вы вынуждены жить до его радикальной переделки?

Всячески поощряйте тех, кто по своей имманентной тупости оказывает сопротивление не нам — уму, чести и совести эпохи, — а своим основным институтам и законным правительствам. А также тем индивидам, которые безошибочно чувствуют, чем чревато для них и их традиционных ценностей завоевание СССР (читай — КПСС, примеч. мое. — УЛВ.) мирового господства.

Поскольку дело это исторически решенное, необходимо уже сейчас разработать ГОЭЛРО.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИБЕРАЛИЗМА РЕВОРГАНИЗАЦИЯМИ

Только младенец, связанный пуповиной с махизмом, не понимает, что после установления полнейшей, железной диктатуры партии над диктатурой пролетариата и прочей люмпеншущерой основным ее врагом диалектически становится тот самый господин-либерал, с чьей помощью мы деморализовали силы сопротивления хаосу и коммунизму сначала в России, затем во всем мире. В господине либерале после перенесения исторических катаклизмов, кровавой бани и полного крушения всех слюнтяйских розовых иллюзий, к сожалению, просыпается чувство политической, нравственной и прочих реальностей, что необходимо мешает всей нашей благородной работе по освобождению человека от власти эксплуататоров и переделке грязного ада в светлое будущее.

Всемерно поощряйте западных либералов, особенно левого толка, к разваливанию гнилых структур их родных обществ.

Советская власть — это инвентаризация инакомыслящих и учет либералов с их последующим уничтожением если не физически, то политически, — и никаких сентиментальных нюней и нюнешек.

Грудью вставайте на защиту партийности в литературе и в искусстве. Немедленно поставьте наших местных либералов в каторжные и даже в скотские условия существования под знаком кнута и пряника.

Нет в мире права выше прав большевиков переделывать мир. Поэтому морите правозащитников, как клопов.

Неужели, разделавшись беспощадно с десятками троцких, сотней бухариных и рыковых, а также с тысячей различных ициков феферов, партия и ее славные органы не в состоянии физически (выделено мной. — Лувлич.) обуздать одного физика-психопата из лагеря разочаровавшихся в нас и сообразивших наконец, как мы ловко облапошили их, либералишек? Он, очевидно, забыл, что электрон практически неисчерпаем?

Вперед к мировому хаосу. Предлагаю присвоить ему имя Маркса и Энгельса.

Какой мерзкой скотиной оказался Хафез Амин. Передайте мой пламенный привет Бабраку Кармалю. Это же глыба. Матерый человечище.

Немедленно начинайте демонстрацию военной мощи на границах так называемой Польши. Как могло случиться, что пролетариат этой издревле русской провинции начал поднимать голову? Бить надо по ней серпом, товарищи, добывать молотом, а не садиться за стол переговоров с предателями интересов мирового пролетариата, стонущего под игом фордов, филипсов, круппов, арманов хамеров и прочих беспринципных выроdkов человечества.

Кстати, не мешало бы, не откладывая дела в долгий ящик, уже сейчас позаботиться о том, чтобы ликвидация господ либералов во Франции и Голландии, где они будут со временем представлять для нас весьма опасную — ввиду крушения амбиций и вспышек мелкобуржуазных обид — силу, была поручена товарищам Вышинскому и Дзержинскому. Относительно приговоров у меня с ЦК не предвидится никаких разногласий.

Почему бы товарищу Буденному не подумать на досуге об использовании сексуальной революции в наших целях? Хватит отдавать ее на откуп монополиям. Порнография — не последнее оружие в борьбе народов за прогресс мирового хаоса. Что думает по этому поводу товарищ Пономарев? Он помнит, что мне регулярно недодают фосфора, сахара и делают все, чтобы я, потирая ручки, не засмеялся, довольный?

*Шав Нинел. 18 термидора 1980 года
еще не нашей эры...*

Мы тут, маршал, на днях подлечили немного Втупякина вместе с молодым Марком. Потому что тот окончательно вдруг оборзел. Когда въехал ты на танке в Афганистан, у Втупякина прямо праздник был на вонючей душонке. Ликовал. Прыгал от радости, сволочь. Еще, говорит, одних мазуриков к рукам прибрали. Скоро на глобусе места для нас не хватит. Всех к ногтю приберем, вылечим капстраны от шизофренической любви к наживе.

Палату нашу вдруг уплотнил, прохода не оставил. Руки потирает, довольный. И так похваляется:

— Есть прогноз с верхов, что Сахарова к нам сюда подкинут. Палки чтоб в колеса танкам нашим не вставлял в Афганистане и политбюро не дразнил инакомыслием. С собой, сволочь, пытается подменить ум, честь и совесть нашей эпохи. Но я ему подменю. Я ему гипоталамус от мозжечка отсоединю, вражеской морде... Я ему встану поперек дороги национально-освободительного движения... Я его манию величия превращу в любовь к Родине и КПСС, забудет, что академик, навек. Аппендикс совести народной и подлец из подлецов... Если застану кого за разговорчиками с негодяем от науки, то не жалуйтесь потом — я вас коллективно под шок отправлю и так потрясу, что зубы выпадать начнут...

Как тебе это, маршал хренов, нравится?

Решетку в соседней палате покрасил заново Втупякин и намордник на окно надел. Боялся, видать, что толпы народные демонстрацию устроят перед дурдомом... Завтра, говорит, привезу сюда в рубашке врага империи нашей, который водородной бомбы секрет продал китайцам за три пачки цейлонского чая. Прижгу я ему нейрончики, прижгу, чернила из авторучки пить станет... Я ему докажу, лысой бестии, что шизофрения — заразное заболевание, передающееся через мысли на расстоянии... Как дважды два ясно мне это. Отсюда и первая стадия такого шизо — инакомыслие... Откуда ему еще браться? Неоткуда.

— Архигениально, — завопил Ильич. — Нобелевку тебе вручим, товарищ. Ленинку на сберкнижку положим. Матерый ты наш человечище. — А сам на шею внезапно кидается Втупякину и целует его в обе щеки, целует взасос, так что Втупякин только мычит от ужаса и к дверям пятится, и вдруг как заревет на весь дурдом «мы-ы-ы-ы-ррр».

Санитары прибежали, оттащили Ильича, под дых как дали ему. Он и провалялся в отключке целые сутки, только постанывает:

— Зарезервируйте, товарищ Цюрупа, мой продрацион до конца эсерского мятежа в Черемушках.

Ну, мы ждем, разумеется, когда привезут к нам честного гражданина Сахарова. Сигарет для него выделили. Молодой Маркс кусок

колбасы докторской под кровать засунул. Плачет целый день и слова говорит, я тебе еще передам их, генсек — главный врач сумасшедший нашей страны... Ждем...

Втупякин в костюме новом ходит и без халата, чтобы значок был виден «Отличник госбезопасности» и ордена с медалями прочими. Ручки, повторяю, потирает, довольный. Лени на привязать велел на три дня к коечке.

— Я тебе, стервец, покажу, как лобызаться с медперсоналом клиники.

— Да здравствует советская психиатрия, — орет в ответ Ильич, — самая квазигуманнейшая в мире во главе с товарищем Втупякиным. Дружно подсыплем аминазина в продукты польским товарищам — этой змее на груди социализма... Ура-а-а...

А Маркс, вроде меня, все плачет и плачет и Фридриха на свиданку зовет, Гегеля почему-то проклинает и философию нищеты критикует.

Но тут узнаем мы, что ты, маршал, велел Сахарова в город Горький выпереть ровно в четыре часа. Втупякин аж почернел от злобы. Тебя самого лечить, говорит, надо от страха перед мировым общественным мнением, от фобии, порожденной американскими сенаторами... Тебя-то он чехвостит почем зря, а всю злобу на нас, несчастных, срывает. Зверствует просто. Чай приказал холодный выдавать и ноги по-йоговски за шею закладывать. Неслыханная зверюга. Очень он, гаденыш, наде-

ялся на всемирную славу, если б Сахаров в руки ему попал. Бахвалился нам, что через неделю алфавит академик забудет и имя вредной своей жены Елены, а тут ты его, маршал-писатель, здорово подкузьмил, в натуральную величину, можно сказать, уши заячьи замастырил паскуднику человекообразному.

Ворвался ни с того ни с сего в палату с санитарями, раскидал всех в разные стороны, веревками побил, сигареты растоптал, свиданку с женой запретил молодому Марксу.

Маркс говорит мне:

— Слушай внимательно, движущая сила истории, я тебе сейчас идею подкину, она тобой овладеет и станет материальной силой, но не в смысле прибавки пенсии, а вот как. Я тут истолок аминазина и пертубанитромукодозалончика в порошок. Ты завтра подкинь его в пиво Втупякину. Только впритырку. Когда мы его маневром увлечем из кабинета. Понял?

— Не сомневайся, — говорю, — парень. Пора Втупякина с головы на ноги перекантовать, иммунизировать чудовище в ранней стадии.

Вызывает меня Втупякин на следующий день про родственников вспомнить и мои отношения со светилом — луной. Поскольку выяснилось, что при ущемном месяце я как-то странно мочусь и с задумчивым видом. И Втупякин приказал в полнолуние сосуд ко мне висячий на ночь привязывать.

В общем, сижу у него, толкую всякую чушь от скуки про луну, а он пишет и зубами скрежещет:

— Вы у меня, сволочи, попляшете от моей диссертации. По трупам пройду в членкорреспонденты, гады ползучие!

Вдруг слышу грохот, треск, звон стекла и громоподобный голос молодого Маркса:

— Я тебя, падаль картавая, на свалку истории кооптирую! Ради балеринки Кшесинской позорную заварушку устроил в Питере. Развратник! Скотоложец! Ты лошадь отбил у Буденного!.. Мразь брюменерская!..

Втупякин туда сразу помчался, ремень на ходу снимая. Он очень любил им нас поколошматить. Только бы повод был и без повода, например, на выборы в Верховный Совет СССР.

Помчался он на шум, лиходея, а я ему в бутылку открытую-недопитую порошок кидаю и размешиваю до приличной пены. Пива Втупякин ужас сколько потреблял, а мочиться, что удивительно, никогда не мочился. В нем пиво в печени сразу в желчь превращалось и разливалось в мозгах. Поэтому он таким бешеным стал.

— Немедленно сообщите товарищу Дзержинскому, чтобы он выделил отрядик для ареста карлика-маразматика, — визжит Ильич, и только слышно, как порет его Втупякин ремнем: вжик-вжик по коже. Потом за Маркса взялся, а диссиденты орут:

— За каждую царапину `отчитаешься, садист.

— Роба твоя всю мировую печать обойдет, свинья двурога.

За стекло, грозитса Втупякин, вычесть денежки из капитала Марковского. Тот действительно хотел выкинуть Ильича на помойку. Хорошо, что не порезал вождя нашего. Попало обоим.

Приходит Втупякин в кабинет весь потный, и пахнет от него нехорошо. Дожирает пиво из горла. За стол садится и сникает постепенно. Носом клюет, сигаретой меня угощает, чего никогда раньше не случалось, — в общем, на глазах зверь в приблизительноного человека воплощается.

— Иди, — говорит, — на сегодня хватит. Скажи Марксу и Ленину, что погорячился я слегка. И чтоб порядок был во вверенном мне помещении. Не то всех цианистым калием выведу, как антинародную моль. Пошел вон...

Целых три дня ходил спокойный Втупякин, про Сахарова совсем позабыл. Палату нашу опять разуплотнил, но больше я ему химии в пиво не подсыпал. Маркс решил, что хорошего понемножку... Вот какие дела, а Сахаров все равно поумней вашинского политбюро и скоро вместо Косыгина сядет. Тогда, может, и колбаски вдоволь пожем...

Вот еще одного голубчика подбросили нам новенького. Койку в проходе поставили. Этот

блаженный думает, что обезьяна он шимпанзоя.

— Неужто не видите, — говорит, — как я на ветке баобаба сижу, насекомых ищу? А сейчас банан лопаю. А-а-ак. Глядите, макаки, самка моя чешет ко мне с водопоя. Врублю я ей сейчас в тенечке...

— С этим все ясно, — говорит диссидент Гринштейн, — у него ярко выраженный синдром политбюро: нервно принимает желаемое за действительное с последующей ненавистью к демистификаторам.

А Обезьяна что делает? Онанизмом, маршал, на глазах у нас с большим настроением занимается, нисколько не стесняясь даже Втупякина. Он лишь лыбится и подшучивает:

— Руку менять не забывай, с ветки, смотри, не сорвись.

А Ленин, который сам по этому делу хороший специалист, протестует:

— В дни, когда весь мир радостно ожидает суда над американскими заложниками, архипаскудно откатываться в нашу обезьянью предысторию. Стыдно, товарищ Обезьяна, стыдно. Надо смирять реакционные желания.

— Помолчи, картавая сковородка, дай человеку кончить, — Маркс вмешивается.

— Карл Маркс украл у Клары Цеткин кораллы, а Клара украла у Карла Маркса кларнет, — возражает ехидно Ильич.

— Нет, не придем мы к победе коммунистического труда, — говорит Карла.

— Придем. Придем. Вот и товарищ главврач подтвердит.

— Это не за горами. Придем. Таблетки только, гады, не сплевывайте. Шоками изведу. Имена свои забудете, — подтверждает Втупякин.

— М-да-а... Над нашим прахом прольются слезы благодарных людей, — возражает Маркс, и Втупякин, ярьась, грозит ему:

— У тебя в квартире на обыске сочинения молодого Маркса вчера нашли с пометками. Знаем теперь, где нахватался ты этих цитирований, симулянтская харя. Не пройдет этот номер. Не таких подонков раскалывал я здесь, двое Александров Македонских, четверо Маяковских, несчетное количество Микоянов и Молотовых прошло через мои руки, и все фамилии, заметь, на букву «М», так что я и с Марксом как-нибудь разберусь. Сволочь, симулянт.

— Убить меня мало, — назло ему, сокрушается Карла, — разве можно было русский перевод «Капитала» не назвать «Состоянием»? Неужели советская медицина и психиатрия не исправят этой грубой политической ошибки? Господин Гельмгольц, вы представляете себе наши окрыляющие перспективы?

Диссиденты тут дружно хохочут, я тоже робко улыбаюсь, но в споры не влажу... Не до того. Помог в тот раз из горла у Маркса зубную щетку вытаскивать: Ленин туда ее засунул внезапно. Никто предупредить не успел.

— Я за чистоту наших рядов, — вопит Ленин. — В пасту томатную превратим молодого Маркса.

Подходит санитар — человек без лица, просто никак не удается разглядеть физиономию у этой фигуры. Как так можно без лица?.. Шприц всаживает Ленину в руку, следующий укол — Марксу. И тишина устанавливается.

Ужин хлипкий несут. Таблетки на ночь. Телек включают: программу «Время» смотреть, ума набираться, международное положение понимать в нужном духе... Я же предпочитаю вздремнуть, чтобы встать посреди ночи и продолжать свои для тебя объяснения, маршал...

Понял ты наконец, что Втупякин с врачом моей сделал? Понял?..

А в колхоз я следующим образом попал. Заявляюсь в райком партии. Секретарем там, конечно, Втупякин был. Я и не удивился. Сам приучал себя к тому, что иначе не может быть до некоторых удобоваримых времен.

— Ну что, раненый, скажешь? Небось на печи валяться задумал и на лаврах достигнутого почивать? Не выйдет. Председателем идешь в «Заветы» этого самого Ильича. Понял?.. Ты не из самострелов, случайно? Есть у меня в районе и такие прохиндеи. Но не дождалась они гибели нашей. Все силы — для победы над врагом. Накормим фронт. Каждое зерно — государству, каждое кило мяса — Сталину. Победа будет за нами. Справим на

нашей советской улице масленицу и на жидях напляшемся.

— Зачем, — спрашиваю, — на жидях плясать? Их ведь вроде Гитлер изводит зверски.

— Больше нашей партии плясать не на ком чисто исторически. На татарах и чеченах не напляшешься. Популярности у них в нашем народе мало. Лучше пушай на жидях попляшет, чем на нас — на советской власти, которую он, чую я это ежедневно, ненавидит по вредной политической темени... Прислушайся там к нему. На заметку бери. Ежеквартально должен ты как председатель под следствие отдать одного человека.

— За что? — спрашиваю.

— За воровство, саботаж, укрывательство скота, разговорчики, ненависть к Сталину и нашей партии, отказ бурный подписаться на заем и выдать наворованное в фонд победы над врагом.

— Вдруг, — говорю, — преступлений таких не окажется?

Засмеялся Втупякин:

— Так не бывает, чтобы их не оказалось.

— Всех пересажаем — работать кто будет?

— Освобождающихся скоро начну тебе присылать. Все до одного — враги народа.

— Значит, — говорю, — сажаем народ, а выпускаем врагов народа? Как так получается? Прибыли от этого никакой.

Задумался Втупякин. Даже слюни от нату- ги мозговой с губы свесились.

— Ты не контуженый, случайно? — спра- шивает.

— Немного, — говорю, — задело.

— Оно и видно. Тебя самого за сомнения провокационные брать можно... Поехали в «Заветы Ильича»... Почему в те места про- сишься?

— Воевал я там. Друга как раз возле Про- хоровки захоронил...

— Фамилия друга?

— Вдовушкин Петр.

— Знакомое что-то... Поехали в «Заветы», чтоб они на хер были надеты. Одни партиза- ны собрались там на мою голову...

Приезжаем. Название, конечно, у колхо- за, думаю, дерьмо. С таким далеко не уедешь... Собрание созывает Втупякин, ви- димость колхозной демократии выставляет... Господи. В колхозе-то одни сплошные бабы, маршал. Бабы да пацаны махонькие, от по- следней ночи, от мобилизации бабами рож- денные. И старухи. Старики померли и в партизанах сгинули. От мужиков — ни слуху ни духу. Без вести мужики тогда все до одного пропали. В плену небось, подум- малось мне тогда... Беда... Народная, крова- вая беда...

— Работать, — говорю, — бабы, будем. Делать больше нечего. Возродиться надо. Родина голодает. Победим скоро...

Проголосовали за меня бабы. А работать, говорят, не на чем. Ты же, Втупякин, сам всех жеребцов на фронт приказал угнать. Буденный — дурак — под танками угробил их без толку. Кобылы одни остались. Бесятся в течку. От меринов же ленивых жизни ждать не приходится. Трактор нам дай.

— Механизации вплоть до победы над врагом не ждите, бабы. Выписал я вам сюда в подмогу ешака из Ташкента, где жиды от крематория спасаются. В пути ешак, по наряду Совнаркома СССР. Он вам тут понаделает жеребят. Ярый мужик, а не ешак. Всех огуляет. Кобыл только успевай подставлять, — говорит Втупякин...

Посмеялись, за что люблю я лично свой народ, маршал.

Самогонкой нас бабы с Втупякиным напоили. Картошки с салом изжарили, вспомнил я горько и сладко, как Нюшка моя около печи гоношила всякую всячину, а я в озорстве похлопывал ее и поглаживал... Вздыхаю от всего сердца. Где, говорю, жить буду, бабоньки?

— Сегодня, — отвечает одна, — у меня заночуешь. Я бригадирша. Завтра — у Плеханихи. График полюбовный составлен, чтоб обидно не было. — Хихикают бабы похабно и весело.

— Как так, — говорю, — я не согласен. Что я вам — кобель гулевой, что ли? И не нанимался... Может, я и не могу вовсе от контузии?

— Молчи, Байкин, — говорит Втупякин. — Выполний волю женской части народа. Не прикидывайся полом, вышедшим из строя. Вон ты ешак какой. Если б не партийная работа, сам остался бы тут. Все мои председатели вдов веселят, поскольку народу много на фронте полегло. Восстанавливать срочно его надо. Приказ Сталина. Воля партии. За невыполнение — к стенке... саботаж... вредительство... гуд бай, дорогуша.

Бабы же прямо по-производственному выступали. Жизнь, мол, наша пропадает... Детишков хотим... головы без мужиков кружатся... Низ живота болит... Ужас что снится по ночам... Нервы... И Сталин, оказывается, гнушаться нами не велел до самой победы...

Чтоб, думаю, у этого Сталина по херу на пятке и на лбу выросло, пушай помучается, штиблет шевровый натягивая и фуражку маршальскую на башке пристраивая... Что мне теперь делать?

— Не кочевряжься, председатель. Был женат-то?

— Вдовый я... Погибла баба в бомбежку.

— Вот и помянем ее давай, а заодно и мужиков, которые грудью встали на защиту социалистического Отечества — друга всех угнетенных народов и надежды всей Земли. Все — для победы над врагом. Наливай, — говорит Втупякин...

Ну выпили. Патефон бабенка одна завела. Танцевать повела. Топчемся, топчемся под

«кукарачу» какую-то. Вальс кружим под «Синенький скромный платочек», но какие танцы с калекой? Одной рукой костыль прижимаю, другой — бабенку. Что делать, думаю?

А делать было нечего. Я мужик не железный, я живой и к бабам жалостливый весьма, через что и потерпел в свой час... Заночевал я у этой танцевальной бабенки.

Лежу с ней, а сам о Нюшке мечтаю... Прощай, жена... будь ты жива — век бы не скурвился... А так... жизнь есть жизнь... И чья это проклятая воля, что разметало всех нас по белу свету на погибель и муки, на унижение земли нашей и напрасное расточительство молодости? Прости меня, Нюшка, на том свете... там с этим делом полегче, чем тут, в колхозе, тут жизнь продолжать надо как-никак, прости...

Но разврата, маршал, не было там у нас никакого. Все строго, чинно, по графику и без смехуечков. В правлении график висел. Я ему и соответствовал два-три разочка в неделю и по праздникам большим, типа Первое мая и Седьмое ноября, будь оно неладно... Порядок был определенный в этом деле. Банька, рюмочка-стопочка, разговор по душам, слезы бабьи, «синенький скромный платочек»... ну, идем, милая, не плачь, дура, возрадуемся, раз живы мы, хоть и в беде по самые уши...

Но и имелась у меня бабенка особенная. Когда график ей приспевал ночевать, она так заявляла:

— Жду я Трошу своего. Поэтому лишь переночуем вместе, поцелуемся, Леня, чтоб жить не страшно было, больно неумоготу без ласки, а кроме этого — ни-ни, ничего у нас с тобой не будет, пожалуйста...

Я и уважал...

Живу в этом смысле, как царь персидский или киноартист Николай Крючков какой-нибудь, вроде Лемешева.

Работаем с утра до ночи. Тыл кормим. Фронт кормим. Сами еле-еле концы с концами сводим.

Тут действительно по наряду Втупякина ешака из Ташкента к нам завезли. Ревучий зверь, упрямый. Намаялись мы с ним. То он кобылку не желает, то она его лягает обоими копытами и куснуть норовит. Откуда, думает, образина такая взялась на мою голову длиннouxая и нескладная?..

Ешак, конечно, по глупости природы мелковатого роста был животное. Пришлось мне мозгами пораскинуть слегка, рационализацию в жизнь провести. Трибуну как бы выстроили мы для ешака. Ну а дальше он сам соображал, что к чему. Тут большого ума не требуется. Жизнь везде свое берет... А мы с бабами подержались тогда за животики... Жеребчики вскоре от семи кобыл появились у нас. Мулами приказал называть их Втупякин, мне медаль «За трудовые заслуги» самолично вручил на собрании, а через неделю чуть не посадил, сволочь. Дура одна из ком-

сомолок надумала телеграмму послать Сталину, что посвящаем ему всем колхозом в фонд победы над Гитлером тягловое животное новейшего типа — полуешак, полулошадь, желаем вам сто лет жизни, дорогой друг, отец и учитель...

Телеграмму, конечно, НКВД перехватило — и на стол Втупякину, а он меня дергает в райком и допрашивает:

— По чьей указке составлялась телеграмма? Что вы этим хотели сказать, мерзавцы? На кого намекаете? Забыли, в какое время живете? Кому, как говорил Ленин, это выгодно? Забыли, что у нас капиталистическое окружение и бдительными надо быть даже в сортире на оправке? Вы здесь только жрете-пьете, а люди на фронте кровь проливают.

Тут эта самая кровь в голову мне ударяет, замахиваюсь костью, прибил бы гада, но люстра, на мое счастье, помешала. Однако притих Втупякин. Такие звери, как он, очень силу и бесстрашие уважают и с удивлением их порой рассматривают, вроде чуда.

— Ладно, инвалид, садись, водки выпей, закуси и проваливай посевную заканчивать. Как закончите, чтобы телеграфная писательница оформлена была как антисоветчица и что мечтала по заданию гестапо, куда была завербована в оккупации, испортить настроение товарищу Сталину в разгар контрнаступления на врага. Ясно?.. И не возражать. План

НКВД — это план всего народа. Не то сам пойдешь туда, где девяносто девять плачут, а один пляшет. Выполняй. Донос чтоб через три дня был вот на этом столе. Скажи спасибо, что не посадил за покушение на мою личность в военное время. Понял?

— Ничего, — говорю, — не понял. Пусть НКВД людей сажает, а мое дело — хлеб сажать да картошку. Не буду писать доносений никаких. Работать и так некому.

— Выполняй, Байкин. Три дня даю сроку. Кругом а-а-арш.

Созываю баб. Что делать, как говорил Ильич, спрашиваю, бабы? Как быть? Насадил нам в наказание начальничков безумных и осатанелых, что за зараза в них проникла? Неслыханные люди. И зачем ты, Пряжкина Лиза, на свою и на мою голову телеграмму эту проклятую начирикала? Пиши теперь всю правду, как есть, не то хуже будет. Раз пристало НКВД, то ни за что не отстанет, пока не посадит. Миллион, если не больше, таких краснолицых комсомолок уже томится в каталажках. Коммунистов же там — видимо-невидимо. Телеграмму надо отцу с матерью посылать, а не начальству.

— Ладно... хорошо... я подумаю, — говорит Лиза Пряжкина, а сама лицом посерела вся и вообще осунулась...

Втупякину дозваниваюсь.

— Осознала, — говорю, — отпусти ты ей грех несознательности молодой, без нее

пропадем, ешак никого больше не уважает, и мулят-жеребят любит Лизка всей душой, в конюшне ночует.

— Выполний, Байкин. НКВД не может простаивать без дела даже во время войны. Раз нету жиды для ареста и всякой белогвардейской сволочи, значит, надо сажать своего человека. Он и в лагерях останется советским, несмотря ни на что. Я в этом лично убедился, будучи в органах. Это говорит об объективной силе сталинского учения, мать твою так, ты сам небось из недовольных? — орал в трубку Втупякин. Плюнул я на все со зла. Ничего отвечать не стал. Без толку отвечать этим людям. Да и человеческого-то не осталось в них нисколько, новая какая-то порода, вроде наших полуешаков. Только полуюшак работать будут на людей и полюбят нас, надеюсь, а втупякины лишь ревут, глаза кровью налиты, нету для них большего удовольствия, чем засадить невинного человека. От чужого горя, очевидно, понимание в них возникает, что сами они до таких верхов добрались, откуда безнаказанно можно творить беззаконие отвратительное, облизываясь, на людей за решетками гляючи. Подлецы, из говна собачьего в князи попавшие. Господи, ответь: за какие грехи, чтобы легче хоть было немного, чтобы хоть покаяться было ясно за что. Неужели ж такого мы напакостили, что держишь Ты нас в неведении и контузии с потерей звука и света?..

— Живи, — говорю, — Лиза, спокойно, выкинь из головы сомнения, все пройдет. Корми ешачков своих...

Являются через пару недель двое энкавэдэшников в портупях — сапоги надраены, ровно тут бал у нас, а не всенародное страдание, паразиты окаянные, Лизу арестовали. Обыск произвели в доме у нее и ночевать остались. Там же и ночевали, сытые хари. Выпивал я с ними. Взятку за Лизу обещал крупную — целого поросенка. Ладно, говорят, подумаем. Напились в дребадан. Я ушел. А утром бабы прибегают ко мне: Лиза удавилась. Если б не пистолеты — разорвали бы бабы псов и сожгли бы, как Дубровский в кино, псов этих троюковских там же в доме. Не знаю, как дело было, но ночью слышали соседи, как кричала Лиза. Потом смолкла. Собака ее завыла, за ней другие, и Машка моя туда же, исскулилась вся, спать не дала с похмелья, стерва... Ну пришли бабы к Лизе, смотрят: псарня валяется пьяная в блевотине своей, с жопами голыми, а Лиза в сенцах висит на красненьком шарфике. Изнасилована она, маршал, была... Ну, как? Кто им директивы давал так поступать? Ленин? Сталин? Берия? Микоян? Каганович?

Отбились кое-как от баб, сволочи. Еле ноги унесли, протокола даже составлять не стали о самоубийстве... Лизу же похоронили мы похристиански, грех на душу взяли, потому что не сама себя порешила она, а изглумились над

ней паршивые морды с асмодейскими лицами. Вот тебе и весь марксизм с ленинизмом. Лиза бедная, чего ты там в нем нашла хорошего, что пуще отца с матерью любила, тряпицами красными хари ихние на портретах разукрашивала, песню пела: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...»

Помянули мы Лизу. Рассоветовал я бабам жалобу Сталину писать. Сам он такой, но вы этих слов не слышали, и выкормыши евонные так же зловредны, подловаты и низки душою. Жаловаться бесполезно, лучше выпьем за победу и чтобы избавил нас Господь от всех паразитов и карателей. Может, доживем до этого, если жить будем стараться, а не унывать. Помянули мы Лизу от души. В следующий раз, думаю, Втупякин-падла, я тебе устрою дело. Я тебя подведу, сука, под монастырь с твоими опричниками, сожгу своими руками и помучаю еще напоследок, чтобы ты признался бабам и мне, как планы вы тут по посадке русского народа выполняете, видимость службы создаете, чтоб на фронт вас, тварей беспардонных, не взяли из НКВД. Ради только этого и стараетесь ведь, гады ползучие. Человека посадите, дело пришьете ему и с мордами занафталиненными в тылу околачиваетесь, пакостничая и в разврате... Совершенно это мне теперь ясно, и знаю я, что за блевотина за вашими красивыми словами... Конечно, устроили вы нас до скотства, что ни пикнем мы, ни чирикнем, когда вы творите произвол

и оскорбление, молчим, ровно тигры в цирке, но не можете вы не сгнуться с земли нашей, в конце концов, доживу ли до этого — не знаю, но молюсь, чтобы, перед тем как сгнуться, не навредили вы ехидно людям последней пако-стью, мором и гладом...

Такое было дело, маршал... Вскоре и детишки начали вслед за мулятами-жеребятами появляться. Мальчики все один к одному, пятеро пацанов. Поназывали их бабы в честь мужиков, в память по ним, Васьками, Кольками, Федями да Иванами. Благодаря моей хозяйственной жиле имели мы трех неучтенных коров для ребятни. Купил я их в городе у охранника за тридцать литров самогона... Выпили с ним, я и говорю, что все ж таки есть польза от социалистической собственности. Есть хоть что воровать, а то подошли бы с голоду давно уже... Это верно, говорит охранник. Десять лет охраняю. На фронт вот не взяли за такой стаж и опытность в охране...

Растут себе пацаны. Даже не ведают, что имеется на свете такая персона — папашка. Видят только мужика одноногого и прикидывают, что самый главный он здесь, раз палка у него вместо ноги выросла.

Мулы подросли тоже. В дело пошли. Работящая скотина, но печальная какая-то, какая-то нерусская, копытом не взбрыкнет и с огоньком оком лукавым не покосит, не поиграет под тобою, не всхрапнет боевито, не зар-

жет родимый так, чтоб все твои поджилочки сладко замлели.

Тут войне конец подошел. Являются двое из плена. Без вести с самого сорок первого пропадали. Приглядываются к колхозной нашей жизни. Пацанов моих прижитых начинают анализировать... Затем подкарауливают меня и принимаются зверски мудохать за мое же милосердие и жалостливость души. В поле мудохали ночью. Что я на одной ноге сделаю с ними? Ничего. До смерти прибили бы. Бабы случайно спасли. Думал — помру. Зубы передние выбиты. Нос поломан в сосиску. В глазах кровоизлияние, и кровью харкаю. Ребра, чую, сломаны, и яйца, как говорится, всмятку. По ним метили. Сука, говорят, мы в аду кромешном были, а ты тут на печи бабье наше огуливал, хряк зажавшийся...

Спасли меня бабы. Но мужики добились бы меня как пить дать, извели бы вскорости. Однако явились вдруг те самые энкэвэдэшники, которые Лизу изнасиловали, забрали бывших пленных как предателей Родины по приказу Сталина. Жаловаться на них я не стал. Не легавый я человек. Просто судьба такая.

Ну а за могилкой Лениной, то есть как бы за моей, Петра Вдовушкина, глядел я исправно... Изгородь голубенькая. Столб кирпичный со звездой красной, потому что телеграмма пришла — крест могильный ликвидировать ровно в двадцать четыре часа... Березка над могилою выросла. В скворечнике птицы жи-

вут. Улетают, прилетают, улетают, прилетают и поют. Ради могилки этой я ведь в здешний колхоз прибыл.

Зажили вскоре мои раны очередные. Тут Втупякин приезжает и говорит:

— Дорогие товарищи. Прах солдата Вдовушкина на пленуме обкома нашей партии постановлено считать прахом Неизвестного солдата, с перенесением в городскую могилу, куда мы подводим вне плана Вечный огонь. Мрамор также выдан для этого дела и немного бронзы отлить бумбетки. Большая вам оказана честь, товарищи, и вы уж ответьте на нее легендарным трудом со сдачей государству сверх плана зерна и мяса. Да здравствует родной и любимый товарищ Сталин — корифей всех стран и полководец прогрессивных народов доброй воли. Мы смели с дороги к коммунизму фашистские преграды, и теперь нам открыта туда вечно живым Ильичем зеленая улица. Ура-а-а.

Я — на колени перед Втупякиным. Как же так? Какой же прах неизвестный, если он вполне известен как Вдовушкина Петра боевые останки. Это фашизм какой-то — делать известное неизвестным... Чуть про ногу свою не брякнул во гневе.

— Молчи, Байкин, не то посажу тебя за антисоветскую пропаганду и агитацию. Молчи. Не вставай партии нашей поперек дороги. Скажи спасибо, что мы этот не совсем наш прах по ветру не развеиваем. Отец-то Вдо-

вешкина расстрелян был, докладывало мне МГБ. Но я лично настоял на захоронении в качестве Неизвестного солдата. В какой еще капиталистической стране, где человек человеку — волк, могло произойти такое душевное событие? А здесь мы стройку начнем оздоровительного комплекса.

Ну как тебе, генсек, твои коммунисты херовы? Что, ты думаешь, выстроил Втупякин на месте моей, то есть Лениной, могилки, на месте поля боя и всенародной беды? Три дачи для обкома и для себя самого, разумеется. Вот что. Какие же вы все-таки все бессовестные оказались, до власти дорвавшись. Ай-ай-ай, маршал. Для этого, выходит, мы руки-ноги теряем и головы?.. Но ладно. Живите, гуляйте. От ответа все равно не уйдете, если не на этом свете, то на том. Поскрежете зубами. Польши ничтожной по размерам вы перетрухнули, а уж какую кучу в галифе натрясите, когда наша рабочая скотинка взбрыкнется, думать весело. А взбрыкнется она точно в свой час: не может у пуганых-перепуганых не лопнуть терпение. Недаром дурачок наш Ленин целый день сегодня морзянку в Кремль отстукивал:

Борьба с польским пролетариатом — это борьба за наши собственные шкуры, товарищи, за святость Учения и укрепление власти правящей партии. Срочно расстреляйте десятка три особенно оголтелых

профсоюзников, чтобы другим неповадно было противопоставлять свою мещанскую программу нам — уму, чести и совести нашей эпохи. Сегодня — Польша, завтра — Венгрия и Румыния, послезавтра — чехи и монголы, через год-другой придется мне на Путиловский ехать, уговаривать смутьянов вернуться к станкам и поточным линиям? Сегодня наш лозунг «Партаппаратчики, все, как один, на борьбу с рабочим классом социалистических стран». В этом залог того, что мы с честью выйдем из нового, суровейшего исторического испытания, эрго, — из периода предыстории.

Вот что он на морзянке отстукивал. Но ладно... Раскопали вроде Ленин прах с лишней моей ногой. Бабы еще перепугались, что там три сапога оказалось... Не могу об этом... Забился я в конуру свою, никого, кроме Машки, не подпускаю и пью горькую. Машка же скулит, потому что одно дело гангрену у человека зализывать, а душу растерзанную зализать — совсем другое. Попробуй залижи ее, если я запечалился, виноватый в Лениных пертурбациях из родной могилы куда-то под мрамор с Вечным огнем.

В общем, как говорит Маркс, закономерно спился. Спился до чертиков, до говорящих и разноцветных снежинок каких-то, до рубахи, превратившейся на глазах моих в студень и слившейся с плеч. Пью и пою «синенький

скромный платочек... ровно в четыре часа...» Прогнали меня в город, в больницу на лечение от алкоголизма. Уж больно отвратителен был образ мой для моих же растущих пацанов. Плачет человек, пьет и людей к себе не допускает. Как ни любили меня бабы, а прогнали в больницу.

Полежал. Завязал на время. Сторожем устроился. Не могу возвращаться туда, где надругательство над останками Лени — друга моего и моей левой ноги. Не могу — и все. Комнатушку дали мне в общежитии, потом в коммуналку воткнули, когда ученого-еврея посадили и расстреляли за то, что на мухах колдовал и пытался привить овсам, картошке и пшенице нежелание произрастать на колхозных полях. Я, конечно, не дурак, понимаю, что невинного человека в расход Вступякин вывел, но в комнатушке поселился. Один живу. Баб не желаю видеть, не то что обласкивать. Обрыдли окончательно после моей самоотверженной деятельности в годы войны и разрухи. Допрыгался. Но, честно говоря, не переживал я, маршал, из-за этого дела. Спокойней даже как-то существовать стало. Это ты у нас боевой ешак, грузинка, говорят, растирала тебе разные части волшебными пальцами, и ты сразу стюардессу развратил в полете посреди облаков...

На могилку вполне известного мне солдата цветочки полевые летом таскаю, мрамор протираю тряпочкой, окурки убираю, бумбет-

ки бронзовые на цепях мелом надраиваю, приглядываю, в общем, за могилкой.

Долго я свое сознание обрабатывал по части вины перед Леной и самим собою, что загубил я судьбу, укрывшись за именем друга, долго. Но когда пришла пора, не удержать меня было, и во многом тебе, маршал, за это солдатское мое спасибо. Насмотрелся я, как ты объелся звездами золотыми, брильянтами маршальскими, драгоценным оружием и прочими холуйскими подарками твоих дружков и понял: жить так больше, Петя дорогой, никак нельзя. Невозможно, более того, жить в прежнем лживом облике, держащем в тени могилы многострадальное мое имя, данное мне матерью и отцом родным. Кончено, слава Богу, с этим безобразием. Пусть знает народ, что в могиле лежит известный солдат Леонид Ильич Байкин, скромно погибший за Родину без упреков кому бы то ни было и обид.

Пусть мочит дождь фанеру и смывает вода чернильный карандаш. Я снова буквы нарисую, пока не выдолблю на мраморе законное имя владельца роскошной могилы...

Сейчас вот опять текут из глаз моих слезы чистой радости.

Легко, думаю, душу и судьбу загубить, но и спасти не долго, если ты бесстрашен перед прошлым временем, настоящим и будущим. О замогильном времени я уж не говорю. Оно поважней, кажется, прошедшего, и ты пред-

ставь, маршал, в сей миг, как разоблачат некогда твои самонаграды, вранье позорное насчет твоих подвигов военных и то, что ты премию огреб за тиснутую шабашками книженцию, как говорит опять же Ленин. Представь... Не знаю, с каким настроением рабочим будешь ты сходить за порог известности и представлять перед неизвестностью, где нет ни маршалов, ни солдат, но только Истинный Свет и вечная бездна тьмы, в которой не сверкнут, не блеснут ни единой искоркой золотые твои побрякушки и камешки, как будто и не было их вовсе в природе с тобою вместе, выдуманным из-за неимения у Втупякина иного выдающегося правителя для страны и народа... Но ладно...

Чего я не досказал тебе?.. Сижу, значит, тогда, после водружения фанерки на могиле, «Синенький скромный платочек» пою, чист душой, повинился перед миром, ханки еще хлобыстнул, соседи, слышу, на строительство коммунизма пробудились, рыла споласкивают, чай кипятят, у сортира толпятся, хреновину какую-то порют насчет Лейбманов, которые в Израиль намылились. Двенадцать человек семья, включая прабабку и прадеда.

Вот и шум идет: кому ихние две комнаты отойдут. Озверелые люди совсем из-за жилплощади, а открой ты им, генсек, границу — половина разбежалась бы враз. Конечно, потом запросились бы многие обратно, когда пропили бы имущество и обручальные коль-

ца, потому что трудно русскому человеку после какой-никакой, но, однако ж, шестой части света в Италии какой-нибудь замазку колупать и «рябину горькую» выть от тоски. Трудно. Обрато бы запросились, а ты бы их наверняка не пустил по партийной зловредности и чтобы не смущали своих соседей рассказами насчет порядка жизни у капитализма и какую денгу зашибает рабочий человек за свой честный труд, а также, что он может купить в магазине на заработанное, где живет и так далее, в общем, то, чего по телику не услышишь и в газете не прочитаешь, благодаря военной тайне о жизни рабов капитала... Шумят соседи. Дружно претендуют на расширение жилья. Драчкой запахло. На это дело мы мастера.

Только думал протезом их там шугануть, чтоб не зверели, может, и не отпустят еще Лейбманов — умные и хорошие потому что они для страны люди, особенно прадед Мойсей, лучше его никто не починит дамскую туфельку, — как в дверь мою барабанят. Зло взяло. Кайф ломают, гады. Беру протез, открываю дверь и первому же врезаю промеж рог с оттяжкой

А это Втупякин, участковый наш, вредное и мелкозлое животное. Хорек... Смешно стало. Извини, говорю, думал — сосед прется.

Тут меня рыл пять в штатском подхватили под белы руки — и в отделение. Вот тебя,

маршал, слышал я от Ленина, ни разу не арестовывали. Ты сам всех в тридцать седьмом пересажал и на ихние места уселся со своей шатией-братией. Русский человек — не человек, если ни разочка за свою жизнь в КПЗ не побывал. Целина, так сказать...

Помял мне там кости Втупякин. Отыгрался сполна за то, что протезом промеж рог получил. Раны даже мелкие открылись у меня — те, что после побоев остались. Вот как помял. Ровно ковер от пыли в выходной день выколачивал и половицу выбивал. С большим удовольствием. Кого же ты бьешь, подлец, спрашиваю. Инвалид-калека ведь в ногах твоих валяется. А он наступил прямо на мой рот ногой обутой и крутит подошву на губах...

Не могу... не могу... как тут не зарыдать от непрошедшей обиды. На боль начхать. Обиды бередают, покоя не дают...

Потом допрос был. А у меня с похмелья и побоев в зрении черт знает что творится. Штук пять Втупякиных в комнату набилось.

— Допился, свинья, — говорят. — ...Над могилой Неизвестного солдата глумишься, дерьмо собачье... От Вечного огня сигарету прикуривал «Приму», подлец, прохожий сознательный донес по телефону... Сгноим тебя в дурдоме, даже лагеря не увидишь, образина опустившаяся... Отрекайся от злодейского хулиганства, рванина пьяная... От кого задание получил? ЦРУ небось и жида тебя спаивают,

Родину нашу великую компрометировать? Солженицына читал?.. В каких отношениях с евреями по квартире, урод? Когда завербован?.. Что еще, кроме листовок, в протезе держал?.. Вот что ты, мразь, стекловатой набитая, с протезом, щедро подаренным тебе страной, делаешь.

Отвечаю так. Я, мол, хоть пьяный и рваный, но нога моя тем не менее захоронена вместе с Леонидом Ильичом Байкиным. Листовку же я нашел на базаре, и в ней вся правда говорится. Не хрена вонючую Кубу кормить на восемь миллионов в день и Африку завоевывать. Самим жрать нечего. Дети завистливыми рахитами растут. Листовка сознательная, а моя фамилия — Вдовушкин Петр, который считается неизвестным солдатом и захоронен под Вечным огнем... Неужели ж прикурить от него нельзя живому человеку, когда спичек нет? Мне бы лично на месте Лени было только приятно... Желаю быть отныне известным справедливости ради и совести.

Ну и опять все эти Втупякины топтать меня начали. А я на своем стою, всю правду выкладываю с самого начала войны. Если, говорю, не верите — выкопайте Ленькин прах на экспертизу. Неужели сделать это для правды тяжелее, чем Сталина на глазах всего света выковыривать из Мавзолея? Выкопайте. Там сразу и ногу мою увидите правую. Мизинец у нее вкось, на большом пальце ноготь

сбит об корень сосновый, сапог сорок четвертого размера. Вдовушкин, эрго, я, Петр. Не будет ноги в могиле — под расстрел готов идти без суда, но и тогда прав буду категорически...

— Отчество какое у Вдовушкина?

Ну, думаю, попался. Отчество вышибла из меня давно еще советская власть. Что делать? Загляните, говорю, в приговор смертельный моего отца и узнаете мое отчество, если оно вам очень интересно... А прах требую откопать осторожно ради уважения к нему...

Куда там?.. Повязали меня и в дурдом воткнули. Хорошо, думаю, что Машка моя вовремя дуба врезала. Оказалась бы сейчас бездомной псиной, гонимой гнусно соседями по коммуналке, а я бы и впрямь «поехал» бы от горя и бессилия помочь спасительнице своей верной...

Полгода первый раз держали. Током трясли. Химией кормили. Под гипноз бросали. Унижали всячески, как шизофреника и алкоголика. Пенсию два раза зажилили, а сказали, что выдали ее мне, а я закупил на все деньги одеколону «Карменсита» и жрал его вместе с однопалатниками.

Выгнали наконец. Даже не помню, что я такого наделал и кто я такой вообще, как я жил до этого дня, до праздника Победы, до Девятого мая. На ощупь, так сказать, живу. Руки трясутся. В сортир ходить забываю, а из школы Втупякин запретил присылать ко мне

тимуровцев — порядок помогать наводить в конуре инвалиду Отечественной войны. В зеркало гляжу — ничего в нем не вижу. Пустое место. Нету меня — и все. Отсутствую в природе и обществе. Стену вижу с голыми обоями, портвешком забрызганными, черный громкоговоритель на ней и ремешок Машки покойной, а себя не вижу. Помню, что это меня тогда вполне устраивало. Успокаивало также. Есть я как бы, но одновременно нету такого человека. Пальцем проведу по физиономии — нос, лоб, глаза на месте, уши топорщатся, борода не скоблена суток пять, стену потрогаю на ощупь — голая стена в зеркале без намека на мое изображение... Вот как лечат в советском дурдоме — самом нормальном дурдоме на свете, как пишется в тамошней стенгазетенке «За здоровье народа». Вот до чего доводят людей, желающих установить жесткую, трудную и раздражающую начальство правду, вот как заставляют по-фашистски вытравить из себя истинную личность до полной потери всех представлений о родимом теле и о многострадальной душе...

Но вот девятого мая, в День Победы, наметилось во мне просветление. Это мой праздник и Ленинкин, всех, кто жив, отвоевав, и тех, кто покоится в земле сырой.

Все же власти отнеслись ко мне, хоть безумным психом и числился, как к инвалиду. На митинг позвали, полкило колбасы отдельной выдали, талон на масло сливочное и кило

свинины жирной с ананасом. Из Африки тот ананас был. Завоевали мы его там. Спасибо, генсек, большое за заботу об инвалиде и руководство внешней политикой. Спасибо, кормилец.

Ковыляю на митинг. Протез об голову Втупякина сломан. Но не танцевать же мне с дамочкой в ресторане «хоть я с вами совсем не знаком и далеко отсюда мой дом...» — люблю весьма этот фронтной вальс. Костыляю, в общем, на митинг.

Стою перед Вечным огнем, перед синим пламечком и плохо соображаю, что это за мрамор, что за огонь, что за высокая трибуна напротив и какое ко всему остальному я имею отношение? Не понимаю. Вот до чего химией набили уроды человечества под маской бесплатной медицины, проститутки поганые. И ни при чем тут проститутки. Любая «синяя птица» на вокзале в тыщу раз душевней, благородней и милосердней Втупякина и даже в долг может дать с заработка на бутылку...

В руках у людей плакаты «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». Оглядываюсь вокруг. Глазами ищу инвалидов. И совсем не вижу. Ведь к тому времени, когда ты, генсек, спохватился и постановление принял о кое-каких поблажках для нашего брата, перемерли мы все почти к чертовой бабушке. Вы ведь думали так: хрен с ними, с калеками, раз они без рук, без ног, с контузиями глаз и ушей и так далее. С голоду не подышают, не работа-

ют, у ворья вещи краденые, случается, скупают, пьянствуют. граждан, психопаты, колотят костылями чуть что, и нечего развращать их добротой внимания. Пусть во дворах сидят и «козла» до отупения забивают, чем бесплатно в трамваях ездить и поездах, спекулируя кофточками и прочим жалким дефицитом. Санатории партийным товарищам нужны позарез, потому что на них страна наша великая держится, а не на инвалидах войны. Родина, мол, не пассажир в такси, который на чай дает за услуги. Жертвовать Родине всем до последней капли крови — священный долг каждого гражданина СССР. Именно так ответили мне в горисполкоме, когда я попросился в санаторий язву желудка залечивать. Но о внутренних болезнях я тут распространяться не желаю. Я лишь хочу заявить, что война так сказывается, особенно на инвалидах, так она перековеркивает все нервишки организма и нарушает течение последующей жизни то в одном его месте, то в другом, что врачи вообще ни хрена в нас не понимают и диагноз ставят исключительно следующий: пить надо, больной Байкин, меньше и закусывать при этом не забывать... А что закусывать? Чем, я вас спрашиваю, закусывать? Мышью, что ли,дохлой под прилавком в гастрономе? Или ухо у мясника — хари воровской — оторвать? Поляки вон из-за мяса шуметь начали, а мы когда начнем? Когда на карточки хлебные пару недель веники березовые выдавать бу-

дут? Или когда опухнем от водянки, как самовары?.. Не знаю. Убили у нас за шестьдесят лет в рабочем классе гордость и хозяйское чувство вместе со смелостью постоять за свои законные интересы и свой ишачий, псам кубинским и воякам африканским под хвост вылетающий труд... Но ладно...

В толпе народа различил я все же фронтовиков с бабами, сыновьями и внуками... И я мог вот так, думаю, стоять рядом с тою врачихой, если бы душевно к ней отнесся и не плюнул в душу бессердечным хамством. И детеныш наш уже отцом заделался бы, если бы, конечно, не спился с рабочим классом... Мелькнуло такое тоскливое сожаление...

На трибуну, разумеется, Втупякин влазит и говорит так:

— А теперь позвольте, дорогие товарищи, зачитать вам Указ Президиума Верховного Совета СССР, подписанный нашим дорогим и любимым Юрием Андропычем Прежневым, который лично возглавил в тяжелый для Родины час руководство главным участком фронта, что и решило исход мировой войны в нашу пользу, и люди перешли к мирному труду по возведению светлого здания коммунизма на территории нашего свободолюбивого государства — оплота интересов трудящихся всего мира и грозы сионизма-империализма лично...

Все, конечно, как всегда, хлопают ушами и позевывают. Я не исключение из этого пра-

вила. На кой, думаю, хрен сюда притащился? Сроду на митинги не являлся ввиду ихней тошниловки и заскорузлой жвачки. Дурак старый... В образах представляю от скукотищи, как жвачка, которую еще Карла Маркс жевал на пару с Энгельсом, Ленину в рот перешла. Тот ее Троцкому в пасть перекладывал, пока Сталин сам не принялся за разжевывание с запитием этой отвратительной жвачки нашей кровушкой и свободой... Втупякин жует ее, слюни заглатывать не успевает, засранец...

Но что это я вдруг слышу?

— Присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» посмертно рядовому Петру Семенычу Вдовушкину...

Тут у меня в мозгу что-то — щелк... щелк... щелк... и душа затрепыхалась, силясь добраться до вечной памяти, но химия ее не отпускала так легко, зараза. Втупякин же продолжает свою речугу:

— Никто, таким образом, не забыт, товарищи, поскольку русский солдат Петр Вдовушкин в тяжелейшей для нашей пехотной дивизии, в безнадежной почти ситуации, в окружении врага... командир и комиссар были убиты в жестоком бою... мужественно и весело запел песню «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч», чем поднял на правый бой остатки седьмой стрелковой дивизии... прорвали окружение... спасли от неминуемой гибели артиллерию... в ночном бою

познал хватчик всепроникающую до печенки мощь нашего справедливого штыка... негасимая ему слава... Вечный огонь его храбрости и патриотизму, товарищи, поскольку многих из вас не было бы в противном случае на этом торжестве солдатской славы нашего оружия. Клянемся над могилой Неизвестного солдата: никто не забыт и ничто не забыто. Лично спасибо Родине за ее благородную память о своих героях.

Трещит от услышанного моя лбина, ровно в невидимую стену я уперся, а пробить ее не могу. Чую, однако, что за тою стеною источник для меня существенный находится. Чую, алкоголик, калека, душой и телом пропащий, добраться же не могу... Вот как мне мое возрождение давалось, маршал. Не то что тебе. Носился в «ЗИСе» по стройкам и горло драл:

— Вперед, братцы-ы-ы. Коммунизм-то ведь не за горами. Неужто вам туда неохота? Вперед.

Напрягаю все силы своей личности, чтобы уяснить происходящее вокруг меня и отреагировать соответственно настроением на услышанное. Как в лесу чувствую себя... Громко — от страха что-то заплутал — аукаю, а в ответ не слышу ничего, кроме слабого звука от своего же «ау-у-у».

Втупякин же остальных воинов называет, вспомнутых по воле какого-то бойкого начальничка по пропаганде в ЦК, потому что не жалость к калекам и уважение к мертвецам

подвигнули его на это, а жвачка потребовалась новая. Старая промеж зубов застряла... Кому орден, кому медаль посмертно объявляют. Живые тоже поднимаются на трибуну. Прикалывает им Втупякин награды, но не могу я никак издали узнать своих однопольчан, которых я же поднял в атаку не по храбрости вовсе, а от отчаяния и боли по своей оторванной ноге и хлобыстнул трофейного коньячку. Митинг как митинг, одним словом, и я уж облизнулся, подумав насчет отдельной колбаски и как я, продав соседу талон на жирную свинину по причине бывшей язвы желудка, скovyляю за «маленькой», картошки жарю на масле, выпью и, может, спою чего-нибудь да поплачу о сгубленной судьбе, о глупости своей и замечательном легкомыслии...

Как вдруг Втупякин — рожа у самого вечно пьяная, наглая, негасимое, одним словом, мурло — произносит:

— От имени нашей партии, Верховного Совета и лично товарища Юрия Андропыча Прежнева вручаю награду Вдовушкина Петра Семеновича супруге его, то есть жене Анастасии Ивановне, которая — гость нашего славного города.

Сперва я за грудь схватился, ровно под дых мне вдарило и согнуло, потом ковыляю к трибуне, все сторонятся, память во мне враз ожила до мелочей, приник к ней, ору, башку задрал:

— Нюшка-а-а! Нюшка-а-а! Петька я твой!

Сердце же мое разрывается от горя и счастья жизни, и нога вроде правая отросла, верь, маршал, стою под трибуной и ору:

— Жив я, Ньюшка. Жи-ив. Синенький скромный платочек... в двадцать четыре часа.

Ньюшка моя уставилась на меня, сама в шляпе, на шляпе букет, лицом все так же хороша, сытая, развезло ее, однако, с годами, в буфете небось работает на мою удачу, шестимесячная не молодит только бабу.

Стою, воплю и костылем размахиваю. Ньюшка тоже с трибуны свесилась, выглядывает меня. Тут Втупякин наклоняется и что-то толкует Ньюшке. Рукой в мою сторону машет. Распространяется обо мне, очевидно, как о пропащем для планов партии, планов народа объекте.

На трибуну залезть не могу. Оцеплена трибуна цепью милиции непонятно зачем. Не могли же они знать заранее, что мне необходимо будет на нее взобраться... Заминка в митинге вышла из-за меня. Оркестр по чьему-то приказу заиграл «синенький скромный платочек... ты говорила, что не забудешь милых и ласковых встреч».

— Ньюшка-а, — ору, — родная ты моя жена, иди ко мне с высокой этой трибуны.

А Ньюшка скривилась, пот со лба платочком утерла, плечом повела, как профурсетка городская, презрением и забвением меня изничтожая.

Тут Втупякин — участковый наш — за-

шипел мне в ухо и обидно плечо рукой костлявой стиснул:

— Опять, Байкин, за старое взялся? Иди за мной по-хорошему... не ломай церемонии, подонок общества... я тебя, гада, вышибу из города-героя в двадцать четыре часа, хулиганье безо всего святого...

Как я мог такое стерпеть? Не мог, ибо позабыл начисто в тот момент, что официально я — Байкин Леонид Ильич. Обиды, тоска, гнев от несправедливости и косорылия Ньюшкиного — все во мне враз взыграло, и молотнул я Втупякина вновь костылем промеж рог. Он — с копыт. Дыра в голове. Не стискивай, говорю, гадюка, плеча героя леговою своей рукой, не стискивай никогда... Оркестр еще громче пилит любимую мою песню.

Последнее из всего, что видел, — Ньюшкина физиономия. Злая, ненавидящая, сплошное непонимание и смущение... Коробочка красная с моею «Звездой Золотой» у Ньюшки в руках, и не смотрит она в мою сторону, как будто вообще нету меня на митинге и не был я никогда ее законным мужем...

Потом уж Втупякин — главврач, объяснял мне, что орал я как бешеный и требовал ногу сейчас же выкопать из-под Вечного огня Неизвестного солдата, который есть якобы Байкин Леня — друг мой фронтовой. Сам я этого не помнил. Думается, оглоушил меня кто-то японским приемом, а может, кровь сама к голове прилила. Было от чего прилить...

Снова дурдом, а я вроде рецидивиста в нем, с таким диагнозом, что произносить его противно. Нет в диагнозе ни грамма правды... Вспоминаю последнее видение с воли: волокут меня за руки и за ногу кверху рылом, а надо мною флаги колышутся и портреты. Втупякин на каждом портрете с мордой отретушированной, ласковой как бы по отношению к народу, прямо отец родной, галстуки в горошек...

Первые дни сижу на койке или ползаю по полу за неимением костыля, об втупякинский череп переломанного, другой заказывать не хотят мне назло, как хулигану... Ползаю, плачу, скулю-наскуливаю «синенький скромный платочек...»

Слева от меня на этот раз не изобретатель порошковой водки лежит, а сам Ленин. Справа же вместо выдумщика машины для управления нашим сложным государством Карлу Маркса положили молодого. Вполне душевный человек.

— Веришь, — спрашивает, — что я есть Карл Маркс молодой и что я оду радости мечтал пропеть всем людям, веришь?

— Раз, — отвечаю, — ты веришь, что я Вдовушкин Петр Семенович, Герой Советского Союза, то и я тебе всецело доверяю. Что такое, интересуюсь, ода?

— Песня такая прошлого века, вроде твоего «Синенького скромного платочка», — говорит Карла.

Все мы тут своего добиваемся. Как обход, так Ленин заявляет, что враги коммунизма специально засадили его лысину волосяным покровом, дабы неузнанным он оставался для партии и рабочего класса. И террор умоляет усилить в Италии, во Франции и в Израиле. Легче, мол, будет нам в мутной водичке рыбоньку всемирной диктатуры ловить.

Я-то верю, что его враги загримировали, но террор всякий мне лично, как русскому человеку и бывшему крестьянину, кажется лишним. Лишнее это все, лишнее. Террор этот до такой заварухи и нас всех доведет, что думать страшно... Террор, мать его так...

Карла Маркса молодой, наоборот, просит разрешения у Втупякина отрастить усы и бороду в седом цвете, чтобы ни у кого уже не оставалось сомнений, что он — это он.

Пара диссидентов у нас имеется. Эти иногда требуют у Втупякина почитать Конституцию СССР от скуки, чтобы лишний раз убедиться, что она нарушается на каждом шагу и вообще служит дымовой завесой произволу, насилию и полувековой трепне дорвавшихся до власти хамов и болванов... Диссиденты никогда не плачут. Болтают. Записочки пишут. На волю ухитряются их передавать...

Ленин вот присел опять на пол, голый присел, халат на голову накиннул, об табуретку оперся локтем, как о пенечек, это он в Разливе, в шалаше себя представляет и пальцем по

табуретке водит: тезисы свои тискает насчет террора и подавления польских забастовок. Вслух говорит, что один только шаг остался до установления всемирной диктатуры большевиков, а тогда, потирая ручки, он засмеется довольный и начнет гладить всех, кроме эксплуататоров, по головкам.

Маркс мешать ему начинает. Палец наслонявит и по стеклу водит с мерзким звуком или оду свою радостную поет. Потом обычно первый не выдерживает и орет:

— Шалашовка разливная. Прекрати тезисовать. Обдристал мои светлые мечты. «Состояние» скомпрометировал. Пролетариат в рабство партии отдал. Сифилитик. Недоучка. Блядь германская вагонная. От тебя у твоей Наденьки глаза на лоб полезли. Бес. Слуга дьявола. Все мы здесь из-за тебя сидим, пыхтим и правды добиваемся... Сковородка картавая.

Ленин зачастую внимания даже не обращает, не мешайте, мол, герр Маркс, международному рабочему движению, которое с семнадцатого года ничегошеньки общего не имеет с вашими идеальчиками и расчетами, потому что допустили вы непростительную для коммуниста ошибку насчет обнищания пролетариата капиталистических стран. Но мы покончим с тенденцией пролетарского обуржуазивания. Мы уничтожим власть с помощью максимального усиления власти в мировом масштабе. Мы вам покажем, что такое

диалектика нового типа и как красть кораллы у Клары Цеткин, плевал я на ваш кларнет.

Маркс первый на Ленина всегда набрасывается, за ноги его с пола дергает и на голову ставит, так как силой обладает ужасной. Ленин и хрипит, извивается, пока мы с диссидентами Степановым и Гринштейном не пожалеем его и не отобьем у разъяренного Маркса. Зачем человека мучить, даже если в голове у него безумные планы, как в газете «Правда» и в твоих речугах, генсек. Ленин хоть треплется только, а вы натурально сошли с ума, по прикидкам диссидентов, и если б вас, по ихним словам, положить сейчас в дурдом на справедливое обследование умственных способностей, жизненных целей, культурного уровня и моральных установок, то оказалось бы, что вас это надо держать в психушках, как бешеных собак и врагов спокойствия народов своих и чужих.

И непонятно всем нам, зачем держите вы в дурдоме своего Ильича, когда он прямо выбалтывает все, что вы сами думаете, а главное, делаете? Вернули бы вы его обратно в Мавзолей на свое законное место, а Ежова Николая Ивановича пошарить оттуда надо к чертям собачьим. И рассмотрите вы там, на своем очередном съезде партии, вопрос о выкапывании моей правой ноги для установления личности Петра Вдовушкина, если, конечно, я вам как живой герой требуюсь, а не как истлевший... Но ладно...

Ползаю по полу и пою, скулю «синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, ты говорила, что не забудешь тихих и ласковых встреч». Пою. Если б не пел, то умер бы точно. А Втупякин говорит так:

— Вот кончу про тебя докторскую и вышибу из твоих уст этот «синенький скромный платочек», на котором зациклился ты преподобно. Забудешь не то что платочек, но и что такое синий в природе цвет.

— Не забуду все равно, — отвечаю.

— Забудешь. Если я из Суслова Карла Маркса почти вышиб, если я Ленина дал соцобязательство на ноги поставить к XXVI съезду партии, а Гринштейна со Степановым образцовыми сделать гражданами, то и ты у меня, пьянь, по-другому запоешь.

— Не запою вовек.

— Запоешь, гад такой, и текст забудешь. Запоешь.

— Не запою. Выкусишь.

— А я говорю — забудешь.

— Никто, — говорю твердо, — не забыт и ничто не забыто. — Сам не выдерживаю — и в слезы, в надрывное рыдание.

Втупякин же снова досаждаёт, как садист:

— Успокойся, не то под шок пойдешь. Не саботируй работу советской психиатрии, направленной на улучшение умственного здоровья народа и укрепление государства, где человек человеку друг и брат и где воплощены

полностью мечтания Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

— Ладно, — говорю, — прекращаю безудержный плач. Давай поговорим.

— В полнолуние охота тебе выкопать свою ногу или равнодушен ты к положению спутника Земли на небосклоне?

— Луна, — отвечаю, — тут ни при чем. Мне не нога нужна, как таковая, а доказательство. Ну что вам стоит выкопать ее? Час-полтора всего трудов. Судьба ведь в этом человеческая, и не надо тогда мудохаться со мною в дурдоме, средства попусту изводить и душу мою терзать. Сталина-то, повторяю, выкопали ради правды, а я таких преступлений не совершал против народа, я наоборот — Герой Советского Союза, верь, Втупякин.

— Ну хорошо, — смеется, — выкопаем мы ногу, сойдется все, что ты порешь тут, диссертация моя погорела — два года работы псу под хвост, а дальше что?

— Дальше, — говорю, — Нюшка меня признает с великой радостью. Вспомним мы с ней превратности судьбы, выпьем, объяснимся, и помру я от счастья жуткого, похоронит меня жена по-христиански вместе с правой ногой, и буду я с удовольствием лежать в своей собственной кровной известной могиле на Аржанковском кладбище. На могиле же Неизвестного солдата напишут:

ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БАЙКИН. РЯДОВОЙ
ПОГИБ ИЗ-ЗА ПОДЛОЙ ГЛУПОСТИ
СТАЛИНА И ЕГО КОМИССАРОВ

— Ну а дальше-то что, — не унимается змей, — что потом будет?

— Потом, — говорю, — хочу поносить немного геройскую звезду на скромном пиджачишке. Билеты в кино и на хоккей без очереди и портвейн в рыгаловке брать буду. Билеты на хоккей в десять раз дороже с рук идут. Из пельменной, само собой, никто в шею не погонит. Известный инвалид, герой, одним словом, всего Советского Союза... Разумеется, расскажу Нюшке за стопочкой эпопею свою с самого ранения и потери ноги, ничего не утаивая, до пробуждения стыда за притворство и отказ от собственной личности. Хотел, скажу, по глупости сделать как лучше, а вышло, Нюшка дорогая, как нельзя хуже, но все хорошо, что хорошо кончается.

— Так... С тобою у меня все ясно. Прогрессирует твоя болезнь, Байкин. Настоящее с будущим путаешь, переходишь из него в прошлое с уклоном в автонекрофилию. Зря ты так, Байкин, зря. Героя Советского Союза заслужить надо. Я думаю, что свихнулся ты из-за вины перед своей ногой, скорее всего, потому, что допускаю предположение о намеренном членовредительстве в период окружения с целью увиливания от защиты Родины и советской власти. Ненависть к товарищу Сталину тоже сыграла большую роль в твоей лжи и дезертирстве. Будем бесплатно лечить тебя, используя весь арсенал советской психиат-

рии, самой человеколюбивой в мире науки побеждать заблуждения ума. Так-то вот, Байкин. Ну-ка, вытяни обе руки.

— Я — Вдовушкин, — заявляю непоколебимо, — герой, фронтовой известный певец и мировая умница без всякой Мани Величкиной и Соньки Преследкиной.

— Хорошо, — настырничает Втупякин, — больной Байкин утверждает, что он здоровый Вдовушкин. Давай сличим два фото. Идентификацией у нас такая хреновина называется. Гляди... Похожи?

— Вот это, — говорю, — похоже на психиатрию самую человеколюбивую в мире, не то что раньше. Поглядим...

Гляжу... На одном снимке я как раз перед двадцать вторым июня ровно в четыре часа. Красавец. Чубчик кучерявый. Кепчонка — шестнадцать клинышков. В глазах огонь негасимый сверкает. Улыбка — шесть на девять. Плечо каждое — под пару коромысел. Шея — как труба у паровоза «ФД», только белая, недаром бабы млели, вешаясь на нее.

— Ну что? Разве не разные здесь два человека? — вежливо так и вкрадчиво спрашивает Втупякин.

— Да, — соглашаюсь честно, — не похожи два эти человека. На второе фото смотреть рядом с первым страшно просто-таки... но...

— Вот мы и лечимся, — обрадовался Втупякин. — Вот и хорошо, Байкин. Дума-

ешь, с гражданкой Вдовушкиной не идентифицировали мы тебя?.. Вот ее заявление. Читай... Впрочем, глаза твои слезятся, я сам читаю. Вернее, изложу своими словами... Так, мол, и так, хотела бы признать в этом прохиндее Петра своего, но не могу сделать такового ложного показания, хоть исстрадалась в розысках и в смерть мужа не верю... прошу запросить американские и немецкие загсы на предмет проживания его в тех странах после пленения и пропажи без вести... И так далее. Пояснила Вдовушкина, что ее законный муж пьяни в рот сроду не брал, ростом был выше, глаза, уши, губы рядом с твоими не лежали и что лечить таких надо беспощадно, так как жалко смотреть на спивающийся народ, калечащий жизнь жен и детишек...

Тут я на полу в рыданиях забился и пою, хриплю от всей души: «...ты говорила, что не забудешь милых и ласковых встреч... по-о-орой ноч-но-о-ой мы расставались с тобой...»

Колотит меня, разрывает от чувств, а Втупякин с важным видом что-то пишет себе и пишет, на меня внимания никакого не обращает.

Как же, плачу, узнать тут нас и сравнить? Уши мои морозом жизни прибило, как псине шелудивой, бездомной, пообтер я их на сырой земле и на нарах падлючих каталажек... Глаза мои — пара синих глаз, васильки полевые — выцвели ко всем чертям, наглядевшись на войну и мир настоящего, вымыты

одинокой слезой и оловянной водярой глаза мои, братцы... Чубчик ты мой ржаной, не забыл я тебя, развевался ты, чубчик, надо лбом высоким и упрямым, всегда был на ветру, ныне же череп мой желт и гол, как горка ледяная, обоссанная невинной пацанвой и жестоким народом... Перебиты, поломаны ноздри, прости ты меня, нос мой расчудесный, что опух ты, засиреневел, заплюгавел, прости... Как же узнать мне щеки мои, Нюшка, когда морщин на них поболее, чем извилин в ленинской голове... А брови? Где вы, мои брови? Нету вас над глазами вообще, не генсек ли изловил их, как птиц, и распростер над зенками своими?... Батюшки, губы мои розовые, жадные, добрые, веселые губы, до чего же я вас обтрепал об края кружек окаянных, стаканов стеклянных, горлышков зеленых, батюшки, до чего я вас изгунявил, истрескал, злодей, в кровь разбил... Но я это, Нюшка, плачу я, разве может одна душа в такой миг выдать себя за другую, душа — не фамилия, ее не поменяешь, ты же не забыла меня, Нюшка, Настенька, Анастасия, двадцать второго июня ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война...

С другой стороны, маршал, нет мне прощения, должен я быть забыт, и явление мое в мир тоже быть забытым должно. Я не умница мировая, а натуральный подлец и кобель окаянный. Нюшка не узнала меня? Правильно. Справедливо. Сам виноват. Нечего было со-

ветской власти бздеть. Следовало до смертного часа оставаться Вдовушкиным Петром — сыном кронштадтского врага троцкой сволочи. Все было бы мне воздано за долготерпение, муку души, оторванную ногу, нечеловеческие пертурбации — все...

Леня, друг ты мой фронтовой, что же я наделал? Как теперь кашу эту расхлебать успеть до смерти? Хрен с нею, с геройской звездой, может, останься я самим собой, а не тобою, то и Ньюшку искал бы, и она обнаружила бы меня непременно, без страха явился бы я в деревню родную, и все стало бы на свое место, Леня. Да и теперь хоть детишков рожать нам с нею поздно, но и так пожили бы годочков десять, прижамшись к друг дружке на широкой, на взбитой, на чистой постельке. Днем же пошли бы пенсию получать — и в пельменную: «Варька, а ну-ка, стаканов пару. Герой Советского Союза с законной женою страстно желает двести грамм хлобыстнуть под пельмень с горчицей, под пельмень с маслицем, под пельмень с уксусом, костыль — под стол, палку — по боку, садись, Ньюшка, за все уплачено, никто не забыт, ничто не забыто...»

Кстати, маршал, где пельмени? Куда девались наши пельмени из пельменной № 8 «Романтики»? Где пельмени? В Афганистане? На Кубе? В Африке? В космосе? В чем дело, маршал? Где они?.. Пустыня в пельменной нашей. Как с Христом конвоиры, вы с народом нашим в жизни поступили — один

лишь уксус в пельменной оставили. Макайте, мол, в него запекшиеся от крови и обид губы. Все равно, скоты, в международном положении ничего не смыслите и не понимаете исторических задач партии — ума, чести и совести нашей эпохи... Может, в Польше сибирские наши пельмени? Нет. Не бастовал бы рабочий класс при наличии от пуза сибирских пельменей в Гданьске, на верфи имени Ленина. До чего же вы, генсеки, маршалы и Втупякин, довели русский народ, если он пельменей запах забыл, но не проявляет благородного недовольства и не то что не бастует, а плетется как миленький на обрыдливые митинги, на фармазонские выборы и мошеннические трудовые вахты. Это же сплошной депрессивный психоз. Шизофрения массовая. Бред страха. Мания возвеличивания паразитов. Анемия. Амнезия. Мания дальнего следования.

Это я нахватался по медицине от Втупякина и диссидентов... Вот Ленин опять бумагу рвет из рук... Ручки шариковые где, думаешь, берем? Нянечки их нам за деньги приносят. А деньги мы где и откуда в дурдоме достаем? Воруем, маршал, потихонечку. Через окошко на веревке простынки вольным, нормальным гражданам спускаем, стулья иногда, аминазин скопленный передаем ленинский. Он прикинул, что недовольных молодых людей много развелось и поэтому надо оглушать их наркотиками любого вида, от хоккея до аминазина включительно... Вчера фикус продали какой-

то бабке за два флакона одеколона. День рождения жены Марксовой отгуляли. Портрет твой с орденом Победы, который ты нагло нацепил на себя, не будучи Рокоссовским или Жуковым, тоже мы с удовольствием пропили. Деньги, конечно, не за твою физиономию были получены, а за раму золоченую с финтифлюшками и бамбетками разными... Краску масляную подтырили, когда ремонт шел. Хватились ее маляры, а мы говорим с Марксом, что вылили ее в сортир, чтобы не излучала вредных для мозгов запахов. Чего с нас возьмешь?.. Портрета же твоего до сих пор не хватились, вроде бы и не было его на стене вовсе... Ну а уж лампочки мы, где только можно было, поывертывали. На воле-то они вдруг пропали из-за того, что вы там в ЦК экономию решили навести за счет потери народом вечернего освещения. Придет утром Втупякин, спросит: где лампочка сортирная, сволочи? Ленин говорит, что лампочка не сортирная, а Ильича и он делает с ней, когда она перегорит, что заблагорассудится. Новые вворачивает лампочки, а нам того и надо. Раз идет воровство на всех участках строительства коммунизма, то и мы не в стороне, как говорится, от народа и руководящих работников.

Докладная записка комиссии партконтроля № 234/59

Необходимо выжать Хомейни — этого махрового мракобеса и ярого врага коммуниз-

ма, вознесшегося на вершину власти на гребне религиозного фанатизма, — как губку. Смерти подобно игнорирование Ирана как решающего очага мирового хаоса. Вчера было рано, завтра будет поздно. Выход к берегам Персидского залива с экспроприацией нефтяных богатств у архиразвратнейших шейхов и их наложниц позволит нам наконец взять империализм за горло без риска ядерной конфронтации с США. Мы — коммунисты — просто исторически обязаны закончить глобальнейшую драчку за нефть задолго до перехода человечества на новые виды энергии.

Заигрывайте, где только можно, не стесняясь **никаких средств** (выделено мной. — Ульич.), с невеждами и хапугами муллами. Сыграв свою историческую роль в интересах мирового коммунизма, они будут убраны нами без лишнего шума со сцены истории и выброшены на свалку вместе с их идейными братьями — попами, раввинами, брахманами и римскими папами.

Передайте привет Кастро-Каддафи. Это глыба. Матерый человецище.

Срочно переведите молодого Карла Маркса в другую палату и спросите у Андрона Феликсовича, кто такая Кшесинская? Не она ли сбежала на поганый Запад вместе с группой работников нашего партийного балета?

Что там слышно с внешней торговлей — этой веревкой, которую мы затащим на горле картелей и трестов? Уберите Маркса, убе...

Опять, маршал, дерутся вожди наши. Ведь Ленин больно часто сигареты из карманов у нас ворует и по тумбочкам роется. Побьют его, а он вопит, что Дзержинский ордер ему выдал бессрочный на обыски и убийство политических провокаторов. Вот Маркс и говорит давеча:

— Если так, то ликвидируйте, герр Ильич, сексота палатного. Никакая он не обезьяна, а стукач втупякинский, лезущий в мозг без мыла и пытающийся разнюхать, где спрятан мой капитал. Типичная насадка. Уважаемые господа диссиденты первыми заметили его обезьяньи нюхательные телодвижения. Полотенце ему в рот — и вся готтская программа.

Обезьяна — на колени перед Марксом, клянется, что не сексотит, хотя Втупякин предлагал ему за такие услуги карточки развратные с голыми бабами, чтобы он онанизмом своим неизлечимым занимался, как интеллигентный человек... Не убивайте, товарищи, я до вас желаю доразвиться и быть отпущенным на поруки матушки.

Пощадил его Маркс, от Ленина отбил и велел в другую палату проситься, не то заткнем глотку полотенцем мокрым и скажем, что сожрать его хотел для порчи казенного имущества... Как ветром сексота сдуло после обхода...

И вот новый курс лечения выдумал для меня Втупякин, поскольку не желаю я отказываться от истинного имени... Уколы колет, в

горло таблетки силком запихивает, шоками трясет невероятной силы. Но я мало того что терплю, я таблетки выbleвывать наловчился. Проглочу, водой запью, а сам в сортир иду, мыла разведу попенистей, хлорки в него добавлю для отвращения пущего и ем, давлюсь ужасно, пока не вывернет меня с таблетками вместе. Уже легче. Личность сохраняю в труднейших условиях ее сопротивления советской человеколюбивой психиатрии.

Если бы диссиденты послушали меня, то и они бы выдержали химическое надругательство над собою. А они говорят: ничего, в дурь немного побросает, а потом с мочой вон выйдет. И вот что получилось.

Приводит нас пятерых Втупякин в зал, похожий на танцевальный, с трибунами, как в цирке. На трибунах молодые люди сидят вперемишку с пожилыми. Кто в форме с синими гбэшными кантами, кто в теннисках и пиджачках. Зашумели смешливо, когда нас ввели с Марксом, Лениным, Гринштейном и Степановым. Рожи у всех такие непотребные, как будто они родственники Втупякина близкие. Весьма сходственные типчики. Блокнотами зашелестели, сволочи паскудные.

А сегодня, дорогие товарищи повышенцы квалификации, произведем наблюдение за двумя группами больных. Одна из них, говорит Втупякин, откормлена нами... хреноколеносоплягопердоширозинокоррадом... прости,

маршал, за два дня это слово не выговоришь... вторая же группа пребывает в спонтанно-хроническом течении параноидального синдрома с манией величия и бредом преследования. Вы можете задать вопрос как больному, считающему себя Марксом в молодости и пытающемуся прикинуться невменяемым с целью ухода от суда за хищения в особо опасных размерах, так и больному Худилину, выдающему себя за настоящего Владимира Ильича вот уже много лет после XX съезда нашей партии. В прошлом преподаватель марксизма-ленинизма в училище акушерства и гинекологии имени Крупской. Затем перейдем на группу, подвергнувшуюся воздействиям эффективных медикаментозов... Прошу...

Ленин, конечно, ручку вперед выбрасывает и вопит: «Есть такая партия». Втупякин на место его отталкивает и говорит, чтоб не лез без очереди. Смех в зале. Хамло ведь на представление сюда собралось со всего СССР, чтоб опыта поднабраться в борьбе с теми, кто не желает по-скотски глаза закрывать на вранье партийной казнокрадии и антинародных авантюристов. Смех.

— Как к симулирующему Марксу обращаться? — спрашивает один идиот.

— Скажите, «больной»... и так далее. Фамилий Маркса и Ленина вслух не произносить, — поясняет Втупякин.

— Скажите, больной, — спрашивает из первого ряда баран какой-то, — помните ли

вы свое детское младенчество в городе Симбирске?

Ну, Ленина хлебом не корми, но дай обратиться к народу. На стул хотел забраться под хохоток повышенцев. Втупякин с Марксом удержали.

— Тут тебе не броневик, — говорит Втупякин. — Режим не нарушай.

Тогда Ленин закладывает ручки под бока, пальчиками барабанит по ребрам, головку наклоняет, ровно воробей, глазки прищуривает и картавит:

— В школе, сиречь в гимназии, батенька, я никому не давал списывать задания. Никому... А когда братик мой Митя оказывался под диваном, я весело кричал ему «шагом марш из-под дивана» и, потирая ручки, смеялся довольный. Если у меня разыгрывался люэс, я оставался дома, читал «Диалектику природы» и «Вопросы ленинизма», а также смотрел в окошко на грязный ад, называемый жизнью... Вот Саша вышел из дому... и пошел другим путем куда-то...

Повышенцы носы и рты зажимают от смеха, ну, хватит, шипит Втупякин, а Ленин срывается:

— Товарищи члены «красных бригад». Вы — дрожжи мирового хаоса. Не поддавайтесь на провокации буржуазного гуманизма, апеллирующего к пережиткам ваших чувств. Сочетайте террор против слуг империализма с практикой задержания политических и про-

чих заложников и шантажом всех полицейских институтов беременной гражданской войной Италии. Ваше мужество принесет плоды всем находящимся в рабстве у империализма. Превратим грязный ад в светлый дворец мирового коммунизма. Вперед, товарищи.

— Хватит, — рявкнул Вступякин, — заткнись, говорят. Теперь другой маньяк ответит на ваши вопросы, товарищи. Давайте без смеха. Мы не в театре.

— Позвольте пару слов в порядке ведения собрания? — не успокаивается Ильич.

— Заткнись, говорят, не то в карцер пойдешь отсюда.

Присмирел Ленин, на пол сел, вид делает, как на картине, которая в приемном покое висит, как будто на приступочках съезда тезисы свои тискает.

— Скажите, больной, помните ли вы своего друга и как его зовут, вернее, как его звали?

— Я все помню прекрасно, — говорит Маркс, — но если кучка идиотов задумала экзаменовать меня в этих стенах, то я не собираюсь быть подопытной лошадкой. Плевал я на вас, душителю прибавочной стоимости в одной отдельно взятой стране. Когда капитал переходит в грязные лапы патологических убийц и социальных паразитов, мы имеем в наличии такую действительность, которую ни я, ни несчастный Фридрих не могли себе вообразить. Как вы кормите, сволочи, основопо-

ложника? Все мясо разворовывается еще на пищеблоке.

— Товарищ Маркс совершенно прав, — брякает Ильич с места.

— Молчать... Вот, товарищи, небольшая иллюстрация к протеканию мании у особо тяжелобольных. Хотя второй больной находится у нас на подозрении в симуляции. Различные экспертизы не подтвердили этого, но интуиция иногда поважней экспертиз. Есть еще вопросы к больным?

— Они что, считают себя всамделишными Марксо-Лениными или, так сказать... в эмпиреях эфира? — спросил бледный и весь в прыщиках повышенец.

— Можно мне? — вырвался Ленин. Вступякин с улыбкой кивнул. — Без эфира — этой выдумки поповщины — я перед вами в натуральную величину, товарищи, и пиджак мой хранит запах бальзама и сандаловых масел, присланных мне египетскими товарищами в 1924 году... В мавзолее находится Николай Иванович Ежов... нонсенс... воляпюк, — тут Ленин захныкал, лицо скривил, я ему шепчу: «Будет, успокойся, не то на ларек денег не выдадут». Он и притих.

Повышенцам интересно, конечно, такой цирк наблюдать. Раскраснелись, глаза горят, ровно у детишек, когда некоторые живодееры кошку мучают или собаку хитроумно пытаются.

— Разрешите, товарищ военврач первого

ранга, за мороженым сбегать? — спросил один шустряк.

— Беги, валяй... Иди сюда, Байкин.

Подхожу. Не ору, что я Вдовушкин. Пусть думает Втупякин обо мне как о поддающемся лечению и встающем вроде Гегеля на ноги. Втупякин и рассказывает мою историю болезни. Киваю, мол, все правильно. Но после вывода, что я маньяк и манию величия Героя Советского Союза имею, не выдерживаю и говорю:

— Если кто из вас раскопает могилу Известного солдата, то его глазам предстанет картина моей правой ноги, и установить ее принадлежность мне не составит никакого труда, — стараюсь говорить вежливо и умно, как Маркс. — Давайте несите ее сюда, а потом поглядим, кто из нас прав и кого тут лечить надо.

Хохот. Даже Втупякин закашлялся весело.

— Значит, — говорит, — намекаешь, Байкин, что меня надо лечить?

— Не намекаю, а заявляю с полной ответственностью.

Еще громче хохочут, а меня уже страх пробирает, как расплачиваться мне придется за умные и упрямые речи.

Молчал бы, мудила, в тряпочку.

— Какой же ты мне ставишь диагноз?

— Диагноз один у тебя на все века, — говорю ясно и твердо, — говно ты есть смердящее и бесполезное для жизни на земле.

Ну, тут уж весь зал грохнул, как по команде, а Вступякин хоть и лыбится, но зыркает на меня зло и многообещающе. И поясняет:

— Лечение больного Байкина проходит последнее время успешно, но вы не забывайте в нашей практике о возможных рецидивах болезни, о вспышках немотивированной агрессии и разнузданного хулиганства.

— Эрго, опасности для общества, — вставляет Ленин.

— Сука, — говорю, вспыхнув, — бригады твои опасны, как гиены, а не я. Шакал. Если б не ты вместе с ними, я бы землю сейчас пахал, а не рожи эти разглядывал. Шакалице.

— Рекомендуются ли, товарищ военврач, мера карательного воздействия по отношению к явно вызывающему поведению больного и хулигански-антисоветским высказываниям?

— Наша психиатрия против репрессирования больных, но в каждом отдельном случае надо полагаться на интуицию и строгую избирательность мер, варьируя их так, чтобы возбудить участки торможения коры головного мозга больного с целью пресечения деятельности его первой и второй сигнальной системы, включая лишение пользования торговым ларьком, что приносит большой эффект в наших условиях. Больной Байкин прогрессирует как выздоравливающий от посталкогольного психоза, но мы с ним еще порабо-

таем. Мы должны рассматривать каждого больного как помощника врача по болезни и не забывать, что психиатрическая больница — не исправительно-трудовое заведение, где делают упор не на принудительное лечение, а на наказание. Не допускайте рукоприкладства даже по отношению к особо опасным диссидентам с манией правдоискательства и навязывания нам либеральных реформ. Химия дает более высокие результаты отворачиваемости от идеологических мотивов поведения и возмнения себя умом, честью и совестью нашей эпохи с бредом защиты Конституции... Перед вами больной Гринштейн, который кандидат на выписку из больницы... Гринштейн, поди-ка сюда поближе... врач тебя зовет.

Сердце болит глядеть на Гринштейна. Глаза пустые. Лицо отекло. Руки повисли. Губы шлямкают. Втупякин книгу ему под нос подсовывает для опознания — Конституцию новую СССР. Что это, говорит, за книга? Узнаешь? Ты же уверял нас в анамнезе, что ты ее наизусть знаешь...

— Ы-ы-ы, — мычит Гринштейн несчастный, — ы-ы-ы.. «Возрождение»... «Малая земля»... «Целина»...

Тут Втупякин бурные аплодисменты срывает, как на съезде партии ты, маршал. Повышенцы мороженое лижут. Цирк у них тут.

— После усиленной блокады центров умственной и идеологической агрессии у боль-

ных наступает положительная подавленность, переходящая затем — с помощью общественных организаций и контроля органов — в уравновешенное отношение к старым раздражителям, как-то: политика нашей партии снаружи и внутри, эмиграция, свобода слова и соблюдение Хельсинки, — поясняет Втупякин.

Затем Степанова демонстрируют. Этот не расплылся вроде Гринштейна, а ссохся, почернел, постарел лет на тридцать, не преувеличиваю.

— Ну-ка, Степанов, расскажи нам, в чем задача советских профсоюзов?.. Дело в том, товарищи психиатры, что Степанов долгое время вел работу среди заводского персонала насчет создания профсоюзного контроля над прибавочной стоимостью и жилищным строительством, страдая с детства манией обличения руководства в злоупотреблениях, и так далее. С чужого голоса пел... Как ты, Степанов, теперь понимаешь роль наших профсоюзов?

— Вовремя взносы надо собирать... «Руки прочь от Ирана» кричать, — быстро так и озираясь проговорил Степанов.

— Вот и хорошо, дорогой. Скоро домой пойдешь, — Втупякин говорит.

Снова бурные овации. Но Ленин снова возникает:

— Да здравствует интервенция в Польшу! Положим конец вмешательству рабочих про-

вокаторов в дело строительства польского государства. Защитим интересы братского народа от вмешательства империалистических подголосков типа Леха Валенсы в дела партии. Смерть крестьянам-кулакам, мешающим росту колхозного сознания в середняцких массах... Ура-а-а!

Опять хохот общий в зале.

— Руки прочь, — орет Маркс, — от прибавочной стоимости, выродки, оседлавшие вершины власти. Прочь. Привет молодому Марксу. Слава деньгам и товару в продуктовом ларьке. Чего ржете, филистеры поганые?

А смех еще громче в зале. Втупякин постукал ключом от отделения по графину. Марксу что-то сказал на ухо. Ленина одернул. Мне пальцем пригрозил, чтобы самовольно не выступал. Но я и сам плевать хотел на эту говорильню... Не до них было...

— На сегодня, товарищи, хватит. Не забудьте о неразглашении впечатлений, а то и так шибко много утечки информации. А ведь мы решением правительства приравнены к почтовому ящику первой категории. Враг пытается поставить себе на службу нашу паранойю, шизофрению и различные мании с депрессивными психозами... Зачеты буду принимать в среду...

Увели нас. И стал меня Втупякин из мстительности доводить химией и шоками до критического к себе самому отношения. Диссидентов же до того довел, что они на свиданке

жен своих не узнали. Смотрят на них остолбенело и не узнают. Только загадочно улыбаются. Это нам с Лениным Маркс рассказывал, когда к нему баба приходила и передачу принесла...

Колет меня Втупякин, таблетками разноцветными пичкает и приговаривает:

— Забывай, Байкин, свой дурацкий синий платочек, поживешь ведь еще на пенсии инвалидной, покостыляешь по парку культуры и отдыха, пивка попьешь с баранками и сухариками черными с солью, я тебе добра желаю, хоть ты и всех ненавидишь, как крокодилов, чертяка безногая...

И начал я постепенно сдаваться духом. Унывать начал. Добились своего, паразиты. Сижу целыми днями в сортире, проклиная себя за то, что с Леней фамилиями махнул, жизнь Нюшкину загубил, на муки ожидания ее обрек, будучи живым и сравнительно невредимым, судьбу испоганил, отчество отцовское забыл, пока на митинге не услышал, вот до чего дошел, прохиндей... Мимо пронеслась геройская моя судьба, может, я певцом заделался бы вроде Трошина и басил по радио с «Голубыми огоньками»: «Подмосковные ве-е-е-чера...» Мимо. Все мимо... Ужас... Ужас, маршал. Веревку из обивочных шнуров от дивана замастырил. Все, думаю, решено, фронтовой певец, мировая умница, кранты тебе приходят, не выдерживает твоя душа такого переживания нечеловеческого, зарыл ты

имя свое в землю сырую, теперь следом туда полезай, никчемность и пьянь разная, жена твоя в километре от тебя расположена, а ты до нее дотянуться не можешь. А если дотянешься, то права она будет, что счет тебе предъявит за холостые годы и ожидания, когда ты баб вдовых обслуживал по графику, дивизию целую безотцовщины наплодил, в книжках такого гада шалавого не встретишь. Нет места среди людей, даже в такой пакости, как коммуналка, полная зловредных змей и гадюк... Умри, ешак безродный и бесстыдный гость на земле. Прочь уходи, горе бестолковое...

Не могу больше переживать. С ума и взаправду сходить начал. Хватит. Решился с некоторым облегчением принять к себе самые суровые меры. Время выбрал. Умылся с утра первый раз за два месяца. Зубы почистил. Бритву «Спутник» у Втупякина попросил. Щетину заскорюзлую сбрил. Поел. Завтрак свой Ленину не отдал. А то отдавал от безразличия к пищеварению и с тоски. Маркс тоже без супчика моего в обед остался. Умереть, рассуждаю, надо всенепременно в форме, и после оправки чтобы все было в этот хоть момент красиво и порядочно. День танкиста, кажется, был. Тебе, маршал, бесстыдник ты все-таки, по телевизору еще одну бриллиантовую брошку навесили жополизы старые. Ах, так, думаю. Тут свою кровную Звезду Героя не вызволишь, а ты себе присва-

иваешь награды погибших маршалов, генералов и солдат? Так? Ухожу из жизни, чтоб только не видеть позорища такого несусветного и такой неслыханной срамотищи, уйду обязательно. Вот День танкиста справим, и уйду, вручай тут сам себе без меня хоть короны царские и сабли наполеоновские. Жаль, думаю, только, что не доживу я до исторического момента, когда тебя с настоящей манией величия положат на мою коечку и Втупякин начнет выбивать из твоей головы мысль насчет твоего значения для народа в войну, в возрождении и в борьбе за мир. Жаль.

Тут Ленин откуда-то выпивку приносит. Муть в бутылке, но чувствуется в ней весьма многообещающая дурь.

— Я, — говорит, — гульнуть сегодня по шалашу с полным разливом желаю. Вот вам спирт, кадетские рожи.

— Где вы достали его, Ульянов Владимир, — спрашивает молодой Маркс и добавляет: — Греческая философия закончилась бесцветной развязкой.

Так прямо и сказал тоже в большом почему-то унынии. Сели мы за стол. Втупякин, как всегда в праздники, нажраться успел и в процедурной дрыхнет. Ленин разливает муть в кружки и поясняет:

— Я своевременно навел порядок в пре-параторской. Я выбросил, с согласия политбюро, к чертовой бабушке на свалку истории заспиртованные мозги Канта, Гегеля, молодого-

го Маркса и Энгельса. Мы идем, крепко взявшись за руки, дружной кучкой по краю пропасти, и нет у нас головокружения от успехов. Спирт же выпьем мы — творцы историй своих болезней, мы — пегвопгоходцы, товагищи мои по конспигации.

Он иногда, входя в раж, картавить начинал. Маркс не понимает:

— А почему вы не выбросили на ту же свалку мозги Сталина, Хрущева, Буденного, Ворошилова и бровастой жалкой марионетки военно-партийного комплекса? .

— Потому что, батенька, мозгов-то у них как газ не геквизиговали по пгичине полного их отсутствия в че-ге-пах, — ответил Ленин и, потирая ручки, засмеялся, довольный... Шарахнули грамм по сто для начала.

— Умнейшая настоечка, — крикнул Ильич.

— На ваших сифилисных полушариях так бы не настоялась, — подъялдыкивает молодой Маркс. Диссиденты пить не стали. Они отошли слегка после блокады психики и притихли. С умом начали действовать, в отличие от меня.

Захмелел я от ленинской тошниловки, вонь от нее во рту и в брюхе жжение. Подвожу в душе итог безобразной жизни, обросшей ложью. Страшный итог. Спившаяся голова, две праздных руки и неприкаянная одна нога. Протез переломан об башку Втупякина. Верный костыль имеется и палка. Перспектив же

нет никаких, кроме втупякинских кулачин и ядов на воле и в дурдоме. Слез и то на сегодня больше нет. Иссяк источник слез.

Последние минутки, понимаю, мне остаются. Обвожу вполне нормальным взглядом действительность. Одно уныние. С Обезьяной — плевать на то, что он сексот-стукач-наседка, — и то веселей было. Прыгает, бывало, с койки на койку и наяривает на ходу свою женилку неутомимой волосатой лапой и орет:

— Мы-мы-мы-мы жи-жи-живем в пер-пер-первой фа-фа-фа-зе-зе коммунистической формации... разведем Крупскую пожи-же-же-же, на всех хватит.

Смех один... А сейчас уныние. Диссиденты письмо на волю очередное химичат. Маркс молодой под хмельком Ленину свою правду втолковывает:

— Чтобы народ развивался свободнее в духовном отношении, он не должен быть больше рабом своих физических потребностей, крепостным своего тела...

— Польским профсоюзам плевать на этот ваш тезис, — говорит Ленин.

— Очень приятно, что наконец профсоюзы соцстран становятся врагом тиранической партии, — вставляет тихо Степанов. Не вытравил из него Втупякин правого дела.

— Над нашим прахом прольются горячие слезы благодарных людей, а мировой капитал всегда шествует одной и той же поступью, —

сказал Маркс и вдруг горько-горько зарыдал. — Как я люблю свободу. Ключ, проклятая птица, больную печень Прометея, камни выклевай из нее... Ой вы гой еси, члены Первого Интернационала, да вы ударьте того орлика по головке, кликните верных отчужденному труду пролетариев, пушай они блокаду аллохоловую предпримут против птицы-хищника-злодея. Печень моя прометеевская страдает... А вы — усевшееся на Олимпе политбюро, погрязшее в разврате Зевса, вы — развалившиеся на вершине власти чушки с рылами неумытыми — держите орла за ноги, выдерните у него крылья из гузна и оперения, поклонитесь низко прибавочной стоимости, замолите грехи перед нею, и хватит небо штурмовать, толку от этого нету никакого, а Демиург толечки и посмеивается да заносит над нами дубинку возмездия страшного. Ой, что тогда будет, Фридрих ты мой батюшка, Клавдия Шульженко — матушка, что тогда будет, завтрака-обеда-ужина не дадут, шприц полметровый в левую и в правую фракцию влепят, передачку отменят, на свиданку накажут, априорили мы, априорили, вот и доаприорились, говнюки, до всемерного развития самых ехиднопакостных способностей человека в правительственном аппарате псевдосоциалистических стран и постепенного обогащения рабочего класса под сладким игом капитала... Уберите орла, уберите, всего Прометея отдаю за здоровую печень, дай, Ильич,

мозговухи рюмашечку, боль залить несусветную, харкнуть на предысторию моей болезни, частной собственностью занюхать. Фридрих-Федя, друг бестолковый, мать твою ети в диалектику природы, плач мой младомарксовский услышь — и все начнем сначала, с антикоммунизма святого и с Божеского происхождения семьи и государства, абстрагируясь от обезьяны полностью вплоть до седин моих, выбритых МВД, услышь плач мой титанический, Зевс, засратый до партбилета...

Тоска. Кажется, маршал, нет на земле человека, довольного своим местом в жизни... Я ведь пишу тебе и для того еще, чтобы совесть в тебе проснулась от прочитанного, пока не поздно. Пока не предстал ты перед Всевидящим и не спросил он тебя:

— Всю, говоришь, отдал ты жизнь в борьбе за счастье советских людей, неуклонно проводя через них твердую линию марксизма-ленинизма, и за это самое побрякушки сам себе навешиваешь на выпяченную грудь? Нука, поглядим, какого ты им счастьяца подкинул, государь хренов.

И оглянешься ты и увидишь все, как оно есть, а не как тебе докладывают отдрессированные шестерки. Уши откроешь и услышишь правды народной рыдание, лживости нашей бесстыдной партийной чертовскую хохотищу. Ноздрей воспрянешь — не учуешь, маршал, душка пельменного с уксусом, с мас-

лицем, со сметаною — порохом нынче, се-рою, полем боя несет, гибелью нашей потяги-вает поутру от твоего пролетарского интерна-ционализма...

Тыщу раз прав Гринштейт Моисей, что если кухарка начинает руководить государ-ством, то кухаркины дети осатаневают и пре-вращают свою жизнь в рай на земле, а нашу в ад кухонный здесь же.

Тоска... Вдруг Ильич на стол залазит. Руки вперед и вопит:

— Все на демонстрацию, товарищи!

Диссиденты подушкой в него запустили, я куда подальше послал, а Маркс вышел. Кача-ется, но как бы участвует в демонстрации. Го-лый разделся, ходит мимо мавзолея, а Ильич с трибуны орет:

— Смело продолжайте дестабилизировать экономику Запада. Ура-а. Обрубим серпом руки покушающихся на социалистические за-воевания в Польше. Ура-а. Афганистану — первую пятилетку. Афганцев — в колхозы. Шагом марш из-под дивана. Да здравствуют советские профсоюзы — школа коммуниз-ма... Сотрем с лица Малой земли Израиль... Повысим производительность труда до неуз-наваемости...

Тоска. Маркс окосел совсем, бормочет:

— Деньги-товар-деньги-товар-деньги-то-вар-деньги. — И при этом цыганочку баца-ет. — Ух... ух... ух...

Ну все, думаю, хватит, Петя, гулять по бу-

фету, что тебе смерть? Есть заварушки пострашной смерти. Смерть все твои узелки развяжет и разрубит. Пора. Воевал ты, как фронтовой певец и мировая умница, жил же, как вша в неприличной прическе, чубчик пропил кучерявый, Ньюшкину судьбу, сволочь, разбил, лезь в петлю, солдат, поболтайся слегка между небом и землею, Семирамида пропащая, Герой Советского Союза...

Плачу последний по моим прикидкам раз. Последние слезки лью горькие и сладкие от прошлого и будущего... Конец моего времени подпирает. Не могу смотреть на действительность. Не могу...

Тут Ильич трясет меня за плечо:

— Товарищ Вдовушкин, исполните-ка нам в честь танкистов, раздавивших польского профсоюзного гада, свою нечеловеческую музыку на слова Кржижановского, буквы Иоганна Федорова.

Выслушал я всю эту белиберду, ровно с того света, и взыграла во мне вдруг солдатская совесть. Есть она у меня, есть, слава Богу. Неужели уж вот так, без песни, покинуть мне навсегда это унылое местожительство? Унылая была бы, Петя, ошибка, стратегическое, более того, поражение, жалкий плен в мосластых лапах смерти. Я петь желаю.

Беру расческу, бумажку папиросную прибереженную к ней прилаживаю, вступление делаю и начинаю глоткою своей луженою, промытою алкогольной мутью из-под мозгов

Маркса, Энгельса, Канта, Гегеля, Буденного: «...двадцать второго июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война... синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, чувствую рядом любящим взглядом ты постоянно со мной...»

На одной ноге стою, без костыля и палки, потому что успел выкинуть в окно их ввиду ненужности, пусть мальчики подберут их и в инвалидов поиграют, память обо мне на краткий миг побудет безымянная... Долго ли, думаю, до табуретки доскакать и башку непутевую сунуть в петлю? Не долго.

Но вот стою, пою и чувствую, что каким-то чудесным образом я — Петр Вдовушкин, без пяти минут самоубийца — оживаю. Оживаю в себе, как говорит Маркс, когда ему жена поздравить по воскресеньям приносит... Веселею. Не может так быть, чтобы я сам этот жуткий клубок не распутал беспощадно и скромно. Чую, что чего-то не хватает мне для повешения, пренебрегаю смертью, пою, заливаюсь: «синенький скромный платочек падал с опущенных плеч...»

Помру, но не отступлю, повоюю с Втупякиным, попытка — не пытка, елки зеленые, Петя, певец ты мой фронтовой и мировая умница... сколько заветных платочков ровно в четыре часа...

Хлобыстнул еще от радости продолжения жизни полкружки мозговухи ужасной и смотрю — Ленин с Марксом на полу посинели,

хрипят, согнулись в три погибели от корчей... Батюшки... отравя.

Диссиденты от письма своего оторвались, пальцы им в горло вставляют, чтоб сблевали, но, видать, крепко мужичков прихватило. Мне же хоть бы хны. Я, как говорится, веселый и хмельной. Даже не мутит. Отрыжка только очень зловредная и ненатуральная, преисподней слегка отдает... А Ленин хрипит:

— Наденька... помираю... политическое завещание... зачитать на «Голубом огоньке»... последний и решительный бой... шагом марш из-под дивана... проклиная...

Скачу в процедурную, тормошу Втупякина. Тот пьяный вдребадан. Диссиденты вопят:

— Ленин дуба врезал! Врачей! Маркс погибается!

Снова тормошу Втупякина, а он орет немедленно:

— Не мешай отдыхать, гад, не то вторую ногу из жопы выдеру. Прочь!

Ужас, что творится. На помощь никто не приходит. Какая уж тут помощь в День танкиста? Все в свое удовольствие живут. Спирта у санитаров хватает... у Маркса на губах пена желто-зеленая, глаза на лоб от боли лезут. Тут здоровый человек тронулся бы на моем месте. Что делать, спрашиваю Ильича, водой его попоивая. Растерялся я.

— В Мавзолей... Ежова прочь... гроб дезинфицировать хлоркой... — продолжает хрипеть Ленин. Сам я вроде не поддаюсь от-

раве. Зачем ей меня брать, если я сам *туда* собрался (курсив мой. — П. В.).

— Петя, поди ко мне, — зовет вдруг Маркс. Подхожу и наклоняюсь. — Тебе одному доверяю... больше некому... кончаюсь не-лепо... передай во что бы то ни стало жене... весь капитал... под девятой яблонькой слева... в саду у тестя... запомни... не в нашем саду... в тестевом... поклянись надо мной... выполни с честью и эту мою заповедь...

— Клянусь, — говорю, — если жив буду и волен, передать все как есть твоей бабе.

— Хорошо... кончаюсь... над нашим прахом прольются слезы благодарных людей... Ленин — говно... отравил-таки... их бин глюклих... Петя... призрак коммунизма бродит по палате... Я честно тебе скажу... Балабан я... Состояние имею... от диктатуры спасал... не вышло... хрен с ним... болит...

Тут врач наконец приперся дежурный. Еле на ногах стоит. Маркса почерневшего приказал унести на промывание, а у Ленина пульс прощупал. Простыней его накрыл и говорит:

— Ленин мертв всерьез и надолго. Пусть до утра здесь возлегал. У меня ключей нет от морга. Нечего дрянью жрать всякую.

Прикрыли мы Ленина казенной простышкой. Маркса, зашедшегося в крике, на носилках утащили. Над Лениным Степанов, как ба-тюшка, всю ночь остальную молитву читал. А мне уже не до смерти было. Петлю свою самодельную, с нехорошим чувством выки-

нул в форточку. Под окном костыль мой с палкою валяются. Пригодятся ведь еще, а я их, дурак, выкинул, мудрости нет во мне ни на грош.

С историей болезни Марксовой поступил зато своевременно в предчувствии шума и генерального шмона. Тут я был мировым умницей, маршал.

А шум был из-за истории великий. Втупякин просто посерел до прозелени на физиономии, когда хватился. И стращал он нас, пытаясь, где история, и заманивал, и короба гостинцев сулил, только отдали бы обратно, если стырили по неосознанности. Никто из нас не раскололся. Хорошо, что Ленин вовремя дуба врезал. Этот продал бы всех наилучшим образом. Не раз продавал по пустякам, потому что у него, видите ли, от партии нету никогда никаких секретов... Все же я его жалел. Он как-никак первый поверил, что я не Леня, а Петя Вдовушкин, Петр...

Уперлись мы все на одном: нам своих историй болезней хватает. На хрена нам еще чужие? Мы что, сумасшедшие, что ли?

Особенно диссидентов пытал Втупякин. Сгною, говорит, сволочи, всех до конца, сами себя узнавать перестанете в зеркале. В ЦРУ решили переправить или в Израиль? Кроме вас, некому было стырить секретную документацию, я вас в органы передам, манию величия преследования пришью на веки вечные, чтоб Америка вас, психов, к себе не пус-

тила, на Родине, скоты, до гроба загорать будете, век свободы не видать, отдайте, три литра водки принесу... А Гринштейн со Степановым, к большой моей радости, отвечают:

— Ты сам продал, скорей всего, сверхсекрет истории болезни нашего Прометея английской разведке и следы заметаешь. Врачи, соблюдавшие клятву Гиппократа как зеницу ока, они никогда не теряют истории болезней. Сам расхлебывай теперь кашу, а мы жаловаться будем и голодовку объявим за все твои угрозы. Конституцию соблюдай хотя бы, свинья тупая с вымазанным нашим здоровьем пяточком...

Как ни странно, примолк Втупякин. Осунулся. Калечить нас прекратил и вышел из положения очень ловко. Новую историю целую неделю писал ночами с двумя повышенцами. Ведь Маркс выжил в конце концов, но ослеп от мути алкогольной из-под чьих-то мозгов напрочь. И пошел слух по дурдому, что Втупякину жена Маркса взятку дала приличную, типа десяти тыщ новыми, за комиссование мужа. Втупякин созвал консилиум под своим руководством, и решили Маркса освободить на поруки родственников как тихого и слепого безумца. Вот как, маршал, дела свои надо устраивать. Тут я Втупякина не осуждаю. Ему тоже жить как-то надо, не таскать же с кухни помои для поросят в портфеле, как это наловчились санитары поступать ввиду отсутствия мяса на прилавках.

Повеселел Втупякин. Помягчел слегка от самодовольства и наличия крупного капитала. Снова за свою диссертацию, то есть за меня, принялся. Я и делаю тогда резкое заявление:

— Ты хоть и Втупякин, но не мировой умница, и тебе меня не перегнуть ни шоками, ни химией, раз я уцелел от смертельной мути изпод чужих мозгов, только свет помрачился в глазах. Раскроется рано или поздно, что я — Вдовушкин Петр, Герой Советского Союза, фронтовой певец, ныне калека, страдающий за свое же раскаяние души и лукавые помыслы ума. И ты погоришь тогда со всеми потрохами, ибо тебе генералы и маршалы не простят глумления над памятью страшной битвы и страдания народа. Не перегнуть тебе меня все равно, если я не то что совсем, как Маркс, не ослеп, но и не подход, как Ленин. Говорю так смело, потому что желаю сделать основное заявление для новейшего доказательства натуральности своей личности и ничего не боюсь. Слушай и передай дальше: в целях спасения личного состава дивизии от безумных приказов комиссара, гнавшего всех на верную и бесполезную смерть, я выстрелил в него из боевой винтовки — номер ее забыл, виноват — и сэкономил сотни солдатских жизней, прорвавших затем окружение, отстояв честь Родины и жизнь на земле, как такую... Что скажешь?

— Фамилию комиссара помнишь, Байкин?

— Во-первых, — отвечаю вежливо, — не Байкин, а Вдовушкин, а во-вторых, фамилия комиссара была Втупякин. Хорошо помню.

— Очень интересно, — обрадовался Втупякин. — Умница. Ты у нас прямо гений паранойи. Большую задачу помогаешь мне разрешить и кое-что повернуть по-новому. Спасибо тебе.

— Стараемся, — говорю, — как можем. Правда — она всегда концы с концами свяжет, — смутился я, как человек прямодушный, от втупякинской похвалы, не дошла до меня его радость.

— А теперь поясни, какую ты цель преследуешь таким решительным признанием?

— Хочу, — говорю, — предстать перед любым судом во имя правды всей этой истории. Доказать желаю, что это я, а Леня — это Леня, мой друг, и что нога моя правая закопана вместе с ним. Почему он должен числиться неизвестным по моей вине и оттого, что на месте нашей законной могилы Втупякин дачу выстроил для своего паразитского семейства?

— Кто построил дачу? Повтори, пожалуйста.

— Втупякин, — повторяю. — Секретарь обкома тогдашний. Теперь в ЦК небось перекочевал.

— Очень хорошо. Конфетка у нас с тобой получается, а не картина заболевания. Ну а дальше что, Вдовушкин?

Верись, маршал, вновь заплакал я, услышав от Втупякина родную фамилию. Прошибаю все ж таки стену эту толщенную, непрошибаемую вроде бы.

— Дальше, — говорю, — могут отобрать у меня геройство за ликвидацию комиссара. По Уставу не положено было убивать его в бою. Готов держать ответ за это недоразумение. Я не ради «Золотой Звезды» стараюсь, не за побрякушку борюсь. Желаю перед женой предстать таким, каков я есть, на очной ставке. Суда ее желаю. Убедительно об этом прошу. Враз меня Нюшка признает родным супругом. Надо только нашатыря припасти на случай кондрашки. У баб от таких дел ноженьки подгибаются и дух пропадает... Тут и конец твоей диссертации, доктором станешь, пивка попьем на хоккее.

Ручки потирает Втупякин и смеется, довольный:

— Занятно. Комиссара никакого ты, конечно, Байкин, не убивал. Это у тебя бешеная ненависть к партии и правительству, остроумно под болезнь замаскированная. Ведь ненавидишь ты их вполне разумно? Не бойся говорить, под следствие ты с этим диагнозом все равно не попадешь. Ненавидишь?

— Разумеется, — говорю откровенно, — любви мне к ним питать нечего ни за свою судьбу и жизнеустройство, ни за распорядительство хозяйством, снабжением и прочей народной жизнью. Не за что мне их любить,

но и я от них к себе лично любви не требую. Не унижусь, хоть и дошел я до последней жалкости и распиздяйства, извини за выражение. Я лишь прошу по закону раскаяния не затыкать мне в глотку правду моей судьбы и ложь заблуждения. Раз ты есть государство, то восстанови право гражданина на обретение похоронного имени, а прожить я и без твоей ласки и заботы проживу, в гардеробе театра устроюсь пальто подавать и с биноклей гривенники сшибать. Так что вот.

— За откровенность лишнюю котлету велю дать тебе сегодня, — говорит Втупякин. — Ну а скажи со всей откровенностью: настроений и мыслей ты у Степанова с Гринштейном нахватался? Ихнюю музыку повторяешь.

— Они, — говорю, — сопли еще глотали, когда я горя помыкал из-за фамилии и колхозной отвратительности, для крестьянина почти невыносимой. Я и сам поучить могу десяток диссидентов настроениям и мыслям. Так что давай бери ближе к очной ставке с моей женой, а то я Сахарову письмо накаатаю.

— Сахарова ты скоро на психодроме увидишь. Там и потолкуете о бесшабашных претензиях к нашей Родине... Добьюсь, чтоб перевели его к нам из Горького... А насчет Нюшки так называемой... Устроим вам очную ставку по линии научного эксперимента. Отчего не устроить? Ты ведь в руках советской психиатрии, а не зарубежной. Женщина сама

просит повидать тебя. Смутил ты хамством жену героя. Ради нее на это иду. А если расскажешь, кто стырил историю Карла Маркса, я тебя раньше времени выпишу и в санаторий помещу хороший. Укол могу сделать, чтобы желание половое в тебе проснулось. По рукам?

— Насчет желанья — не бойсь. Проснет-ся, когда надо будет, не проспит... Болезнь же, то есть историю, Ленин сжевал. Странички вырывал, на кусочки мельчил и ту самую муть мозговую ими закусывал. Глотал, пока не помер. Унес с собой, как говорится, в могилу всю историю. Такие дела.

— Ну иди, скотина. Чтоб через два дня бритый был, не вонючий от мочи и не оборванный. Штанину подверни поизящней и культу свою не демонстрируй. На ставке, при эксперименте, не вздумай беситься. Я тебе потом так побешусь, что дерьмо собственное за конфету «Мишка на севере» примешь, выть две недели под сеткой будешь и железо кровати кусать. Понял?

Я — в слезы от безумной надежды. Снова открылся от радости ихний источник.

— Спасибо, — говорю, — доктор... спасибо... век не забуду... спасибо... все ж таки какой ты ни на есть злодей ученый, а русская в тебе под халатом теплится душа... спасибо...

— Души нету в нас, дурак. Есть лишь душевные болезни ума, — говорит Втупякин без бешенства обычного.

Отковылял я в палату вприпрыжку, рыдая от счастья. Близок мой день, близок. Ничего я не боюсь. Сгорю от стыда, вины и позора, но возрожусь. Непременно возрожусь, за убийство комиссара готов срок отволочь, хотя и не жалею, что убрал его с поля боя, самоубийцу очумелого и погонял казенного, прости, Господи, грех вынужденный, ради солдатских жизней и победы принял я его на душу, прости... Свет ведь засиял в мрачной пещере моего последнего времени. Есть для чего и для кого жить тебе, Петя, сын Родины и, как говорится, враг народа... Много света, маршал, просто глаза режет, невмочь, ничего не вижу, руками ощупываю себя, койку, диссидентов обоих и еще какого-то нового мужчину в палате, а в глазах лишь свет с искорками ровно в кино или по телику — застлало глаза.

— Это у тебя, Петя, от ленинской бормотухи слепота пошла. Взяла наконец. Не нервничай. Ты мужик дюжий. Терпи. Может, еще прозреешь. Так бывает.

Степанов так меня успокаивал, а новый мужчина руку мою взял и целует с ласковыми словами:

— И не сумлевайся, подпиши наряд на три скрепера, а мы тебе железа листового подкинем и шарфов мохеровых три кило. Уважь, Данилыч.

— Уважу, — говорю, — милый, уважу, не бреди себе душу говном всяким. Что нам

стоит дом построить? Лишь бы по праздникам на работу не гоняли

Отвлекла меня на чуток от своих мытарств чужая беда. Даже полегче стало, да и новый сосед привязался ко мне, за какого-то министра принимает важного, который наряды на бульдозеры в Москве подписывает. Чиркаю на бумажках подпись — Вдовушкин. Не глядя чиркаю. Вспомнила рука, как буквы по трудодням выводила и протоколы допросов подписывала в НКВД... В сортир меня водят люди по очереди и на прогулку. А я, не переставая, терзаю себя: вот тебе и ход судьбы тухлым конем, Петр Вдовушкин, фамилия твоя больно печальная.

Затих во тьме уныния. Неужели за комиссара выпало мне такое наказание? Больше не за что. Остальное я себе только поднаваливал, себя казнил и подводил под монастырь. Больше я никого не обижал. Баб жалел. Сам голодал, а Машке последний кусок подкидывал... Или за врачиху карает меня Господь?.. Может, если б не холодный тот разговор с презрением и обидой, не равнодушие мое к любящей твари женского рода, и осталась бы в живых она, разродившись ребеночком?.. Кто знает?.. В темноте видней вроде бы становится отдаленная жизнь, маршал, и ничто не мешает разобратся в ее непоправимостях... Затих я. Не было в моей жизни бедовее минут, часов и дней. Порешил бы себя, если бы не свидание.

А Втупякин изгиляется:

— Поделом тебе, пьянь, не будешь гадость казенную глотать. Как же ты теперь жену свою опознаешь? Пощупать пожелаешь? Пропил зыркалки?

Умираю от этих слов, умираю, не могу...

— Мы напишем жалобу генеральному прокурору, — заступился за меня Гринштейн. — Это садистическое издевательство над инвалидом и глубоко несчастным человеком.

— Да, да, именно — глубоко несчастным человеком, — заявляю.

— Лечить не нас надо, а таких уродов племени людского, как вы, — кричит Степанов, а новенький мужчина об стену лбом забился и повторяет нервно:

— Дайте нам бульдозеры... дайте нам олифы... дайте нам джема клубничного...

— Так, значит, — говорит Втупякин, — опять забунтовали? Подновим блокаду. — Крикнул санитаров, паскудник. Вяжут, чую, диссидентов со строительным человеком, рты им заткнули, мычат они невыносимо, к койкам ремнями пришвартованы. Меня в этот раз в покое оставили. Без глаз я, без ноги, без костыля и палки — полный калека. Язык бы еще отнялся, думаю, к чертовой матери — и совсем был бы, как статуя в парке, пацанами оболваненная...

Но с другой стороны, в темени сплошной как бы отдыхаю я от долгой неправильной жизни, в память ухожу все глубже и глубже,

назад, так сказать, покатился, ровно обрубок войны на тележке с колесиками с асфальтовой горки... Мамашку и папашку только вспомнить не смог, потому что кутенком еще слепым был, когда ваша зловонная власть разлучила их со мною жестоко и по очереди... Баба Анфиса... деревушка... рыбалка... телок в сенцах зимних теплым и кислым дышит мне в нос... пауков в летнем сене ловлю, косиножек... ноги им отрываем и гогочем... каково пауку без ног, Петя, понял теперь? Вот она — гармонь моя с малиновыми колокольчиками... волна в руках, а не инструмент... ты сыграй страдания, Петя... Нюшка это просит голосом своим небезразличным к чубчику моему... Господи... жизнь ведь была у меня, несмотря на втупякинскую власть... была, потому что сильнее она Втупякина, и будет жизнь, если не для меня, то для других женщин и мужчин, сколько бы ни отвлекал от нее Втупякин горловыми, натужными зазывами вперед — в пропасть зловещую... по краю пропасти дружной кучкой идут, крепко взявшись за руки, Ленин с дружками безумными.

Как бы, думаю, остановить их вежливо и обратиться к другому, менее рискованному для людей делу?.. И как же скончавшийся от мути Ленин мог заглядывать в пропасть, если он высоты терпеть не мог?..

Ковыляю, прыгаю от койки к койке, водицы подношу братишкам привязанным, кляпы изо ртов вынул им, успокаиваю, ухаживаю,

одним словом, слепой, но вольный сравнительно человек... Два дня продержали бедняг в путах с замками...

Еще одного нового привели, вместо Маркса, очевидно. Священник, как понял я из разговоров. Голос мягкий, веселый и спокойный поразительно. Как в палате дома отдыха после обеда, когда размор забирает полдневный. Дайте, говорит, мне лист бумаги, и я с карандашом в руке докажу вам, как дважды два, что в Патриархию проникло КГБ с погонами под рясами. Православные люди всей планеты обязаны изгнать сатанинское отродье из лона Святой Апостольской Церкви. Как можно считать безумцами тех, кто лишь указывает на очевидные факты и понимает их смысл? Молюсь за исцеление гонителей и лжесвидетелей...

Степанов заспорил с ним:

— От Бога советская власть или нет?

— Не мучьте меня, голубчики, — тихо и весело взмолился бедный, — сомневаться и я в этом изволяю — грешен. Должно быть, приятная душе власть — нам в утеху, поганая же советская — в наказание, в испытание. Сказано: всякая власть от Бога. Но если кто полагает, что он ни в чем не повинен, а терпит измывательство и удушение сердечных стремлений с покушением властей на дар Божий — на Свободу, то я дерзну сказать следующее, открыв вам свои сокровенные уразумения. Если выпало нам счастье и радость унас-

ледовать **жизнь**, то как же, унаследовав ее, оставить себе в долю лишь сладкие милости, а накопленные за долгие грешные века неприятности отделить от судьбы частной и общих судеб? Не отделишь, сколько бы ни рыпался, милоч. Принимай сладость с горечью, свободу с неволей, свет со тьмою... — Примолк батюшка, ибо понимаю, что на меня он в данный момент глядит с испугом и сожалением.

— Мне, — говорю, — не горько от ваших слов, а, наоборот... светло.

— Помоги тебе Господь, милоч. Я вот помолюсь за твое исцеление.

— Спасибо, батюшка. Исповедуй меня до обеда. Давно не исповедовался... А таблетки выблевай обратно. Я тебя научу. Лучше тело вывернуть наизнанку, чем душу и имя

— Хороший совет. Непременно выблюю. Не поддамся адской отраве.

— Нет, отец Николай, — вдруг после рассудительного молчания говорит Гринштейн, — советская власть — не власть вовсе. Вот в чем дело. Она — выродок идеи власти. Произвол она гнусный морального, бескультурного, безликого отребья, присосавшегося к нашим душам и шеям. Вот и все.

Тут Втупякин заявился.

— Ну, — говорит, — приготовляйся, Байкин. Завтра рандеву я тебе устрою, чтобы от мании ты избавился и остаток слепых дней провел в престарелом доме. Хамства не позволяй. Вдова всю жизнь, можно сказать, на

ожидание мужа ухлопала, а ты хамишь при вручении ей наград законного героя. Если бы не диссертация, ни за что не устроил бы такого дела. Понял?

— А ты, милоч, сообрази на одну лишь секундочку, всего лишь на одну-единую, что сосед наш не ошибается, но правду сущую открывает, — говорит батюшка. — Разве в науке отменен метод предположения, каким бы парадоксальным он ни казался смущенному разуму?

— Умничаешь, Дудкин. Если я как советский врач-психиатр предположу такое, то всех вас надо шугануть отсюда, а меня заключить на ваше место для принятия курса активного вмешательства в пораженную безумием психику. Фрейдизм пушай предполагает. Мы же — медицинские большевики — и впредь намерены исключительно утверждать.

Все трое почему-то в смехе закатились безудержном над Втупякиным.

— Посмейтесь, посмейтесь. Завтра я вас приторможу слегка. Поплачете, — говорит Втупякин и снова в какие-то рассуждения о здравом смысле пускается.

Не прислушиваюсь. Уходит душа моя в единственную пятку от безумного страха и еще более безумного восторга... Ты действительно представь и себя, маршал, в моей страдающей шкуре хоть на минуточку, если способен еще представлять что-нибудь, кроме премий, бриллиантов и сабелек... Лежу, ослаб-

ший от искреннего нежелания принимать пищу... Лежу, молодость свою припоминаю и как задыхался от одной только мысли о Нюшке... жена моя, Настенька, Анастасия, что же с нами обоими наделал, подлец... и тьма в глазах, лишь слезы тьму подчеркивают, ровно звезды июньской ночью в четыре часа... Киев бомбили, нам объявили, что началась война... чем же занимался я, когда ты, ни за грош пропадая, баба красивая и молодая, Петра своего, любимого больше жизни... ты говорила, что не забудешь... ждала, Господи, прости, вот она, кара Небесная, за все грехи мои пришла, сил нету выносить, порази меня, Господи, убей или исцели хотя бы частично.. как же не учуял я Нюшкиной жизни, чудом спасенной... с целым колхозом спал, пацанвы наплодил видимо-невидимо, все голубоглазые, кровь с молоком и щеки красные, теперь уж сами небось в отцах ходят, отчего же не с тобой я их прижил, ешак блудливый...

Лежу на койке дурдомовской, мечтаю во тьме, как все у нас с Нюшкой могло быть иначе, красивей и со счастьем, спирт проклиная ленинский из-под чужих мозгов умалишенных, загубил он фронтового певца. Пули не взяли человека, осколки не взяли. Бог его миловал чрезвычайно, и ангел-хранитель берег, а Ленин доконал-таки, проказа... Зачем такому человеку жить? Смотреть на него страшно, сам же он никого и ничего уже не видит. Тьма...

Однако самоубиваться не рассчитываю почему-то. Достичь жажду бережка правды, а там, авось, во благо какое-нибудь по новой вынесет...

Побрили меня диссиденты. Приодели. Ободрили. Ни в ком сомнения нет, что случай мой натуральный, а не мания преследования величия. Батюшка молитву вознес за меня:

— Господи, прости рабу Твоему, Петру, тяжкий грех лжи, убийства и подобострастия с пребыванием в чужой личине, не ведал, дурак, что творил, прости и помоги, Отче наш...

— Ну, пошли, — говорит Втупякин, — хамить, повторяю, не вздумай, пощупать не стремись. Она сама не слепая. Не ошибется.

— Это верно, — говорю, — я ведь узнал ее, и она должна не промахнуться, что с того, что много очень лет прошло.

Костыль сует мне новый Втупякин. Выкинутый мальчишки утащили для игр военных. Разорилось родное правительство на костыль инвалиду, калеке войны, на палку, видать, не хватило, все на космос ушло... Ладно...

Идем куда-то по коридорам. Прихожую дурдомовскую миновали... Налево. Направо... Дышу с трудом... На костыле обвисаю... Сил нет ни в ноге, ни в сердце... Тьма... Зуб на зуб не попадал бы, если б таковые имелись...

— Ну, садись, Байкин, и сиди спокойно. Воды вот попей. — Втупякин это сказал. К стулу меня подтолкнул. Сел я. Водички попил. Валерьянка в ней была. Сижу. Жду.

Сейчас, думаю, Ньюшку введут, по шагам узнаю ее, помню, как летала по хате, — половица не скрипнет, только ветерком тебя обдаст... Дождались свиданки. Какой я ни на есть развалюха, а все же живой человек, не мертвый, вроде Лени и Ленина... Простишь ли ты мне, жена, тех бабенок колхозных, несчастных вдов и горячих во вдовьей безысходности существ? Простишь ли грех, обрекший двух родимых людей на вечную почти разлуку?

— Кто тебя мерзостью этой напоил? — спрашивает с интересом Втупякин.

— Ленин, — отвечаю с охотой поговорить, потому что невмочь молчать в ожидании свиданки.

— Одни пили или еще кто с вами был?

— Маркс еще молодой был, но не надо меня Байкиным называть при жене. Не называй больше.

— Не он это. Не он, — сквозь слезы выкрикнула вдруг женщина в помещении этом. — Ни ростом, ни лицом, ни фигурой не вышел... Уведите вы его, несчастного больного человека, ради Бога. Сил моих нету.

— Хорошо присмотрелась, Анастасия Константиновна? — спрашивает Втупякин, а я ушами продолжаю хлопать.

— Чего уж тут смотреть... горе одно...

— Слышал, Байкин?

Я-то слышал, но не признаю Ньюшкиного голоса за давностью в тридцать с лишним го-

дочков. С мыслями собираюсь ошалелыми. Если б не химия, я бы быстрее распорядился, не припоздал бы тогда.

— Господи. На что только в жизни не насмотришься, — говорит напротив меня женщина, и волнение такое вдруг потрясло сердце оттого, что ее это голос, ее, что сорвался я с места ей навстречу, но санитарские и втупякинские чугунные руки пригвоздили меня к месту.

— Нюшка! — ору. — Нюшка! — Но издаю, маршал, к ужасу своему, мычание, коровье мычание, и ничего больше, как на поле боя после контузии и еще пару раз после белых горячек.

— Не мучьте его... уведите, Христа ради... если нету у него никого, вот... денег возьмите на всякую прибавку...

— Нюшка, помнишь, как сказал я тебе, чтоб подумала выходить за сынка расстрелянного? Помнишь? — говорю это и еще что-то из знакомого нам обоим, губами шевелю с выражением, но мычание лишь безнадежное вырывается изо рта моего, напрягшегося до предела.

— Ну, пошли, Байкин, пошли, будет, успокойся, — подталкивает меня Втупякин.

— Помнишь, Нюшенька, загашник я тебе оставил — три монетки золотые, царские червонцы? — ору и понимаю, что мычу я, мычу и мычу, не могу остановиться. — Я Петька твой. Петька. Признай меня. Прого-

ни их из комнаты... я тебе ночь нашу первую от души припомню... не уходи только... только не уходи навсегда...

— Да уведите вы, наконец, человека. Что вы мучаете его? — вскрикнула моя жена, я рванулся к ней снова, но тут подхватили меня под руки и поволокли прочь, рот затыкают, как всегда в таких случаях, чтоб не мычал. Укол какой-то прямо на ходу воткнули, гадюки, бьюсь у них в руках, вырываюсь, потом провалился в невменяемость...

...Сижу потом в курилке, курю и думаю с терзанием: как это я не учуял, что сидела она в комнате, когда мы заявили туда с Втупякиным? Как же я дал маху такого непростительного? А все сослепу. Глаза не видят, значит, никого как бы и нет рядом... С неделю лежал я в отключке, пока не очухался... Прозревать начал постепенно, но радости от этого не чую никакой. Зачем мне все это дело с жизнью на земле?

— Только, Петя, в уныние не впадай, — увещевает ласково батюшка. — Все наладится у тебя. Терпи. Выйти отсюда — твоя задача. А там через слово образуются так или иначе ваши отношения. Ты уж немало бесов одолел, от дури ленинской спасся, неужто теперь сдашься на милость сатаны? Обводи змея вокруг пальца. Мы, Петя, живучими должны быть непобедимо до самого конца, за пределом сил нас самих попросят сложить

руки на груди и глаза прикрыть упрямые, не беспокойся, милоч.

— Дело, — отвечаю, — говоришь, ба-
тюшка. Будь по-твоему. Но сам ты ни в коем
случае химию не глотай, не то они вытравят
из тебя все святое и в мычащую скотину пре-
вратят... Вот диссиденты, послушались бы
меня с самого начала и не продемонстрирова-
ли бы со сцены тупость личности перед повы-
шенцами... Хорошо еще, что вовремя спохва-
тились. Тут главное — идиотом вылечив-
шимся придуриваться, а быть себе на уме. Те-
перь я и поведу такую политику отступления
перед хитрым маневром, я ведь, как ни гово-
ри, дивизию целую спас и дух победы внушил
унылым вооруженным силам. Крестьянским
умом ворочать надо, а не комиссарским... Хо-
рошо как, братишки по несчастью, видеть
ваши мужественные лица... спасибо вам...
после Лени и Машки с врачихой не было у
меня в жизни верных друзей...

— Слушай, Байкин, — говорит Втупя-
кин, — ежели ты лечению не поддашься, то
сгниешь в дурдомах как социально-опасный
урод общества. Выбей усилием воли, наподобие
Николая Островского, дурь из головы.
Прими помощь химии и советской медицины.
Партия зрение тебе вернула, подлецу, хотя и
не следовало бы таким, как ты, возвращать
некоторых органов чувств. Я из-за тебя дис-
сертацию с хорошим концом никак не защи-
щу.

— Спасибо, — говорю, — доктор, полегчало мне после свиданки значительно. Перестаю быть неизлечимым животным, распад личности превозмогаю. Никакого комиссара я на войне не убивал. Проклинаю алкоголическое прошлое своей заклиненной жизни... контужен, одним словом, спасибо...

Подозрительно глянул на меня Втупякин, но рад. По два часа, бывает, в кабинете держит, расспрашивает, анализы проводит, фотографирует, ручки потирает, довольный, а я смеюсь про себя, когда прикидываю, что будет с втупякинской харей, когда выпишут меня и найду я Ньюшку, и никуда она не денется от признания своего мужа... Приедем мы в дурдом, вызовем в приемный покой Втупякина, а на груди у меня геройская звездочка безо всякого ордена Ленина. Этот орден мне не нужен. Я из него сделаю зуб золотой. И скажу я Втупякину так:

— Лишать тебя докторской диссертации мы не желаем, потому что, кроме нее, у тебя, свиньи, ничего нету за душою. Жаловаться не собираюсь. Некому жаловаться. Такие же мерзавцы тупые окружают нас, как ты сам, и нечего зависеть от них нашему достоинству и жизнелюбию. И вылечить мы вас не можем, ибо не такие самоуверенные коновалы, как вы. Убивать тебя я больше не собираюсь. Живи, гад. Мы же подождем, у нас времени много, пока не изведетесь вы сами, вроде динозавров, несовместимых с дальнейшим про-

живанием на земле и с продолжением рода человеческого... Живи, но пусть тебя смущает содеянное, так чтобы пришел к смертной минуте без покоя в душе. Это и будет казнью твоею, которую, даже если очень того пожелаешь, никак уже не отворишь. Живи...

— Когда выпишут тебя, — говорит Вступякин, — каждую неделю являться будешь за лекарствами. Без них ты долго не протянешь. А водки не пей. Не то укол сделаем, от которого алкоголики помирают прямо под столом. Иди в палату. Забывай все, чего ты от врагов общества наслушался, и не вздумай разглашать.

— Не собираюсь, — говорю, — и без меня все известно.

— Умничай поменьше. Видишь, до чего умничанье доводит таких, как Гринштейн, Степанов, поп Дудкин и Маркс с Лениным? Иди и вели всем на просмотр хроники иди, чувства реальности набираться...

И что, ты думаешь, показывают нам, маршал? Тебя нам показывают в красном уголке. Всего вроде бы успел нахапать, но золотой медали Карла Маркса тебе не хватило, спать, наверно, не мог спокойно без нее.

Ну и поохотали мы все, ровно Чарли Чаплина нам показывали, когда начальник Академии наук вылез и такую выразил похвалу:

— Это высшая награда... присуждена вам — выдающемуся деятелю мирового коммунистического и рабочего движения, за ваш

исключительно большой вклад в развитие теории и практики марксизма-ленинизма в условиях современности.

Не сговариваясь, грохнул весь красный уголок вместе с санитарями и врачами. Чего уж они не удержались, не знаю. Смеху трудно сопротивляться, маршал. Ты ведь и сам небось домой причапал после обмыва медали за научную разработку актуальных проблем развитого социализма и с бабой своей обхохотался над перепуганными до смерти и потери лица академиками, над выжившими из ума жополизами и врялями. Ты же лучше их знаешь, что ты за теоретик и грамотей.

Как простому человеку не задуматься над всем этим киноцирком, если здоровых держат в дурдоме, а на воле такое сумасшествие происходит с вашей общей манией величия и преследования, что только хохотать остается, тем более что Чарли Чаплин, говорят, умер, а смешного с каждым днем становится меньше и меньше.

И брось ты это дело, маршал, пока не поздно. Выгнал нас из красного уголка Втупякин, к телевизору не велел подпускать целую неделю в наказание за откровенный смех. На врачей и санитаров наорал, злодей со стажем.

Вот и кончается история болезни молодого Маркса. Последняя остается страничка, маршал, которую употребляю на просьбу о прочих невинных и здоровых людях, заточенных в наш дурдом и другие психушки.

Сними со всех постов и отовсюду Втупякина. Без этого всем нам — людям и Родине нашей России — выпадет неслыханная беда... двадцать второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили нам объявили что началась война порой ночной мы расставались с тобой синенький скромный платочек падал с опущенных плеч ты говорила что не забудешь тихих и ласковых встреч... плачу, маршал, плачу и слезы свои, кляксочки фиолетовые, кружочками дрожащими обвожу...

Новая Англия, 1980

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ
ОБ ОДНОМ БЕЗУМЦЕ
И СЛОМАННОЙ СОБАКЕ

*Памяти Володи Левина
яростного любителя земных радостей,
веселого и верного друга*

...живут и исчезают человеки...

*(из стихотворения покойного
председателя КГБ Андропова)*

Замечательная эта во многих отношениях историйка произошла во времена уродливого предолимпийского беспокойства, истерически обуявшего столицу нашей Империи.

Если бы было мне по силам, я с вдохновенной дотошностью летописца засел бы за описание всего с ним связанного — настроений правительственных кругов и обывателя, уродливых гримас подготовки к самим спортивным играм, волнующих ожиданий болельщиков и карманников, крикливых репетиций всякого показушного момента и многого другого, продержавшего в постыдно-комическом напряжении столицу и ее окрестности больше четырех лет. Но кому под силу в наше время воспроизвести пером внимательным и беспристрастным — пером историка — образ поведения закрытого общества, решившегося впустить в себя — из соображений невысокого порядка и не без плебейской зависти к жизни открытых обществ — немного нервозно контролируемого, не спертого све-

жачка? Решившегося впустить его, чтобы было у нас все, так сказать, как у людей, но тут же очумевшего от принятого решения и превратившего жизнь обывателя в мелкий и вонючий коммунальный ад...

Какое уж тут «внимательное перо», когда Муза Истории брезгливо отвратила проникновенный свой лик ото всех покалеченных запретами властей российских повествователей, кроме одного лишь изгнанника, да и то мысленно находящегося еще в большем историческом отдалении от современных будней своего умонепостигаемого Отечества и гневно описывающего ужасную, кровавую, тупую, поистине, одним словом, дьявольскую кашу событий полувековой давности, одним из плодов коих и была, кстати, дебильно-помпезная Олимпиада...

Короче говоря, кому — история, а кому — историйка...

Некоторое время перед праздником Первое мая пустую посуду можно было сдать в один момент, без долгих выстаиваний, топтаний, порчи нервишек из-за страха влипнуть до сдачи в перерыв на обед и без трепетаний насчет отсутствия тары под «Байкал» и «двойное золотое».

Произошло это затишье в подобного рода очередищах из-за того, что по столице пронесся смерч убедительных слухов о готовящемся к открытию Олимпиады трагическом повышении цен на крепкие спиртные напитки. В мес-

тах скопления обывателей — на пустырях, в подворотнях, в подъездах, в общественных сортирах, в пивных барах, в банях и во многих других местах — появились зловещие намеко-лозунги «СТОЛИЦЕ ОЛИМПИАДЫ — ТРЕЗВОСТЬ», «БОРЬБА С ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ — ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО» и так далее.

Обыватель, чуткий к предвестникам стихийных бедствий, решил подстраховаться вместе с теми, кто привык безбожно богатеть на любимой игре правительства с народом в повышение цен на винно-водочные изделия. Таксисты, проводники вагонов, служители общественных сортиров, контролерши кино и танцплощадок, уборщицы безалкогольных закусовых и даже завхозы средних школ и высших учебных заведений, не говоря уж о подпольных бандершах и просто запасливых мелких спекулянтах, бросились раскупать спиртное. Полки магазинов опустошены были за пару каких-то дней. Но вот прошло уже три томительных дня после публикации в центральном органе партии явно предупредительной передовицы, а цены оставались на водку и вина прежними. Покупать их многим стало просто не на что. Повышение цен ожидалось в ночь с понедельника на вторник, поскольку в воскресной «Правде» появилась легко расшифровываемая передовая статья «НЕОТСТУПНОЕ ВНИМАНИЕ ПАРТИИ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ — ЗДОРОВЬЮ НАРОДА».

Многим обывателям, не пропившим еще по каким-то причинам ума аналитического, а также тем фигурам, которые привыкли за годы советской власти подкармливать манию преследования алкоголизма любой пищей, стало совершенно ясно, что правительство, в полном соответствии с модной древнекняжеской, а в те дни — спортивной, традицией, сказало своему враждебному народу: **«Иду на вы!»**

Обыватель как бы занял выжидательную боевую позицию. На улицах не было видно не то что пьяных, но и сколько-нибудь значительно выпивших.

Я лично, как никогда, жаждал быстрой развязки всей этой тошнотворной игры, в которую даже многие закоренелые индивидуалисты затянуты бывают не по своей воле, а из-за неуничтожимой и в них таинственной и строгой тяги к воссоединению с народным телом во времена измывательства над вечно страдающим этим телом со стороны либо правительственных кругов, либо сумасбродных идей, либо враждебных внешних сил.

Не могу не добавить в связи с вышесказанным, что несколько десятилетий, прошедших со времен чудовищной Отечественной бойни, довели правительство нашей Империи до такого отчуждения от народа, частью которого оно продолжает являться, несмотря на все свои подлости, глупость и безжалостную социальную жестокость, а также по причине

высокого бытийственного порядка, что правительство самозатравленно тоскует по новому моменту восторженного единения с народом в новой какой-либо отечественной войне.

Правительству, вероятно, видится, как народ грудью встает на защиту самого себя от внешних вражеских сил, защищая при этом и укрывшееся в бункерах правительство, потому что оно является как-никак всего лишь *частью* сражающегося народного тела, *частью целого*. И *целое* это не может больше позволить себе патологически уродливого отношения к своей части — к правительству, — как это случилось в 1917 году. Тогда, как известно, совершенно обезумевшее народное тело пренебрегло сражениями с силами внешними и им же помогло самоубийственно отсечь от себя правительственную часть, посчитав ее, не без некоторых скороспелых, поверхностных оснований, *частью* весьма отсталой, а потому и ненужной, вроде тухлой сардельки на лбу или куриных крыльев на заднем месте. Известно также, *что* за правительство удачно прижилось на месте отсеченного законного в 1917 году. Известно, как иезуитски и насильственно внушает оно народному телу, что с того самого злополучного момента народное тело потеряло историческое право считаться *целым*, но является навек всего лишь подчиненною *частью* нового, монолитного якобы, правительственного *целого*. Известно, с какою параноической мнительностью и угрю-

мою ипохондрией ежеминутно борется правительство не только со многими явлениями психологической, а порой и биологической несовместимости себя с народом, но и со слабыми зачатками народных мыслей об этих проклятых несовместимостях. Так что вполне можно понять правительственную оголтелую пропаганду, вдалбливающую народному телу мысленный страх перед нападением на него враждебных внешних сил, тогда как все, по видимому, делается для того, да и катится почти само собой к тому, чтобы вновь, как в 1941 году, спровоцировать немыслимое испытание для сравнительно добровольно проживающих в нашей Империи и насильно загнанных в нее народов. А уж правительство сделает все возможное, чтобы направить въевшуюся в психику народного тела вину за допущенное в прошлом самоубийственное безумие на бойню с внешними силами, истерической ненавистью к которым оно вот уж несколько пятилеток подпитывает и смехотворно одурачивает обывателя.

Между прочим, олимпийское беспокойство тех дней — вся эта бешеная строительная возня, авральное выселение многих обывателей из центра на окраины под марку Олимпиады, составление списков на интернирование за пределами столицы инакомыслящих и «духовитых» евреев, отработка приемчиков круговой обороны от агрессивных с голодухи провинциалов и просто от любопыт-

ствующих ротозеев, всякие перебои со снабжением вперемешку с фантастическими слухами — создавало, повторяю, как бы предвоенную, предгрозовую, истеричную обстановку в залихорадившем городе...

Все сошлось в конце концов так, что всеобщее согласие с неминуемым поражением началось в пятницу вечером. По ТВ показывали фильм венгерских кинематографистов. Названия его теперь уж не припомню. В ряде сцен герои напропалую, чего давно уж не было на экранах, врезали то сливовицу, то коктейли, то шампанское и пиво. А незадолго до развязки отрицательный герой фильма — инженер и метатель диска, рекордсмен своего города — врезал ни с того ни с сего стакан коньяку без какой-либо закуски и направился с повинной в местное КГБ, чтобы сознательно признаться в попытке похищения чертежей засекреченного суперпланера по заданию врагов родной страны, всего мира, а главное — **Олимпийского движения.**

Нам стало ясно без слов, что **повышения** ни в коем случае не будет в ближайшее время, потому что перед **повышением** таких фильমেцов не прокручивают. Перед **повышением** обычно прокручивают старую ленту «Тринадцать», про красноармейцев, изнемогающих от жажды в пустыне, но продолжающих, несмотря на это, борьбу с афганскими басмачами, как бы намекая сегодняшнему расхлябанному обывателю на необходимость сдержива-

ния жажды выпить в период обострения международной напряженности. Помнится, при Хрущеве показали за три дня до **повышения** фильм про генерала Карбышева, облитого фашистами водой и превратившегося в ледяной столб, но не пошедшего по предательскому пути генерала Власова. Тут уже был явно двойной намек. Не заливай, обыватель, глаз до переохлаждения тела в зимний период и учись одновременно, как сохранять монолитное единство с правительством в годину суровых испытаний... А цену на водку мы повысим, чтобы тебе легче было это делать. Так-то вот...

Короче говоря, кое-кто, не выдержав все же боли разочарования в безумной игре с торговой сетью и иных терзающих душу чувств, начал распив запасов еще с вечера, сразу после фильма-намёка. Но многие не потерявшие рассудительности обыватели решили как-то дождаться утра. Решили проанализировать передовицу субботней «Правды».

Утром у газетных киосков, задолго до заезда партийной печати, выстроились огромные тревожно-мнительные очереди. Они были почти беззвучны в отличие от вино-водочных и пустопосудных очередей. Не дзинькали, действуя на нервишки, бутылки в карманах, пакетах и авоськах...

Вот прибыла наконец газетная отравка. Вмиг разобрана вся «Правда». Обыватель, придержав дыхание, заглядывает в нее с жал-

ким азартом и надеждою, переходящей в немую мольбу, как заглядывает в последнюю сдачу картишек неопишимо проигравшийся прощелыжка... Все затем расходятся в одиночку, либо пылкими группками кто куда.

«ЖАЛОБАМ ТРУДЯЩИХСЯ — ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ» — так озаглавлена была свежая передовая «Правды». Ни о каком повышении цен на спиртное, конечно, не могло быть и речи после такого страстного отношения правительства к широким народным претензиям и неумолкающим воплям. А передовица «Известий» как бы лирически дополняла путеводную декларацию главного органа: «КУРОРТЫ — КУЗНИЦЫ ЗДОРОВЬЯ НАРОДА».

Это был явный намек на то, что слухи о **повышении** — зловредны и что обыватель может по-прежнему отдыхать и развлекаться так, как ему вздумается, поскольку он продолжает оставаться кузнецом своего счастья вплоть до отмены этого замечательного положения при коммунизме за полной его ненужностью...

Таков вкратце фон, на котором развивалась трагикомическая история моего знакомого. В тяжкие минуты полного безденежья кое-кто из нас — жильцов огромного «номенклатурного» дома, не имевших, правда, такого уж прямого отношения к могущественной прослойке бывших и нынешних придурков, — пользовался «банкирскими», вернее,

ломбардными услугами моего знакомого. У него всегда можно было перехватить до получки несколько рубчиков, заложив что-нибудь на вполне приемлемых и не унижительных для личности ростовщических условиях. Но об этом и об остальном — чуть позже.

Знакомый мой получил философское образование в МГУ. После окончания университета ему удалось, благодаря отцовским связям, устроиться преподавателем марксизма-ленинизма в закрытый кулинарный техникум, готовивший специалистов для номенклатурных столовых и для работы за рубежом. Соответственно в техникуме имелись профилирующие отделения — поваров и профессиональных разведчиков-отравителей.

Все беды моего знакомого начались со странного и вяло протекавшего раздвоения личности. Выражалось оно в том, что поварам он преподавал только марксизм, а кулинарам-токсикологам — ленинизм. Это было замечено начальством, но оставлено без последствий, поскольку мой знакомый считался крупным специалистом по преподаванию всем остоебеневшей дисциплины. Кроме того, он с детства был абсолютно тупым защитником нашего бездарного режима, и некоторые странности его ума начальство относило к «философским штучкам затруханных интеллектуалов»...

Он был не женат. Любил попойнствовать задумчиво и в одиночку.

И вот однажды мой знакомый вышел с похмелья на Лубянскую любимую свою площадь с плакатом «ВСЕМ ДИССИДЕНТАМ — СМЕРТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ И ГРАЖДАНСКУЮ». Начальство некоторое время с туповатым благодушием поглядывало из венецианских окон злодейского учреждения на самозародившуюся в глубинах чьего-то верно-подданнического сердца демонстрацию. Затем кому-то из трезвомыслящих чекистов пришло в голову, что никакая не демонстрация это одинокого пикетчика, но злонамеренная провокация. Цель ее — публичное доведение до абсурда главного и заветнейшего желания правительства, которое оно, по причинам от него не зависящим, никак, к сожалению, не может не только решительно реализовать, но и высказать вслух с ленинско-дзержинскою прямою.

Знакомый мой провалился тогда, в полном смысле этого слова, под землю, поскольку взволнованно топтался возле памятника рыцарю революции. Чьи-то руки и затащили демонстранта в потайной люк в подножии кровавого монумента, через который обычно подкладывались к нему свежие гвоздики, розы и хризантемы, но не белого, а иного, обожаемого палачами-ленинцами цвета...

Историйка эта была чисто швейковской. Философ никак не мог доказать, что он «все это — искренне, дорогие товарищи».

Кому-кому, а начальству из злодейского учреждения все было известно, как говорится, до слез насчет действительных умонастроений и сердечных привязанностей всего поголовно обывателя Империи.

Он препровожден был в психушку, где вместе с известными диссидентами кушал, по его выражению, психотропное дерьмо, подключался к электрификации всей страны, избивался санитарями, деморализовывался и лишался сразу нескольких маний, неожиданно обнаруженных видными специалистами. Он также заводил сомнительные знакомства с теоретиками инакомыслия в курилке психушки. В полном с ними согласии, мой знакомый подписывал послания к Эйфелевой башне, Биг-Бену и статуе Свободы о варварской, омерзительно преступной манере принудительного лечения инакомыслящих и беспринципного навязывания им средневековых диагнозов.

Втайне же от подписантов он пересылал куда следует добавления к письменным протестам. Он добавлял, в соответствии с основной своей идеей, что принудительное лечение не только преступно, но и полностью абсурдно, не говоря о том, что оно дискредитирует нашу страну на международной арене в период напряженного одурачивания зарубежных сторонников разрядки... «Никакого лечения, товарищи. Диссидентам — смерть физическую и гражданскую».

Лечащие врачи внутренне соглашались с общим тезисом моего знакомого. Однако упорное отстаивание им примата смерти гражданской над физической по-прежнему весьма беспокоило. Тезис в таком своем виде тонко подтачивал не отмененное правительством и главным идеологом партии Суловым положение о том, что двум смертям не бывать, а одной не миновать, поскольку, во-первых, идеалистическая попытка узаконения возможности двух смертей активно внушала целому ряду враждебных лиц нежелательную надежду на то, что смерть вообще перестает быть неминуемой, а следовательно, в общественной жизни **все дозволено**. На это, разумеется, ни партия, ни правительство с вверенными ему психиатрами пойти не могли. Во-вторых, принятие вредительского примата «гражданки» над «физухой» — как фамильярно именовались оба этих вида смерти в диссидентских кругах — явно приоткрывало кое-какие лазейки для тех, кто вознамерился бы инакомыслить физически после смерти гражданской. Этого никак не могло бы случиться, если бы физическое уничтожение инакомыслящих решительно опережало вполне либеральное стирание их как граждан с лица нашей земли.

Такой, в общих чертах, была логика правительственных эскулапов, вправлявших мозги моему знакомому, от которой он окончательно свихнулся.

После перенасыщения головного, спинного и даже костного мозгов психотропной дрянью он предстал наконец перед членами приемно-выпускной комиссии. Там он, с чувством благодарности партии и правительству, признал абсолютную и относительную правоту лечащих врачей и дал подписку употреблять свой злополучный призыв лишь в радикально измененном виде, да и то непременно с разрешения местных органов власти.

Он также отказался от варварского призыва «прекратить лечение инакомыслящих, взяв упор на уничтожение оных с последующей передачей их коек антиалкогольным медучреждениям». Кроме того, искренне пообещал укротить дерзкую свою манию руководства мировым коммунистическим движением.

Слабую, дрожащую рукою мой знакомый накарябал, по просьбе лечащего врача, заключительную фразу этой вот фазы истории своей болезни, на которую из его рта капали дебилские слюни: «ПРИНУДЛЕНИЕМ ВОЗВРАТИМ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ К ГРАЖДАНСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ».

После всего этого знакомый мой был освобожден и одновременно уволен по инвалидности из техникума. Однако навязчивая его идея не была на самом деле уничтожена принудительным лечением. Она себе жила в обиженном и значительно ослабленном действии бездушной химии мозгу, жила, продолжала

изводить его и замысловато, чисто шизофренически саморазвивалась.

Мне жаль было больного, хотя к правительству, негласно разделявшему бесчеловечную идею моего знакомого, внушившему ему в конечном счете идею эту, но не признанному в международных кругах ни безумным, ни преступным, я почему-то не мог относиться без ужаса и бессильной, брезгливой ненависти.

После лечения выглядел мой знакомый раздерганной развалиной. Денег на продолжение жизни ему вполне хватало, потому что отец его, бывший начальник Воркутинских лагерей, полностью был парализован, безвыходно находился в кровати и смотрел сквозь пальцы, как сын распоряжается генеральской пенсией и различными предпраздничными пайками.

Распоряжался же он всеми этими заслуженными в многолетней борьбе с народом дарами весьма предприимчиво. Деньги без смущения давал в рост, но под вполне благородный процент, под залог брал только партбилеты, ордена Ленина, Победы, золотые геройские звезды и всю антисоветскую литературу. Брал ее исключительно для того, чтобы сжечь, если она вовремя не выкупится диссидентом. Брал и антиквариат.

К антиквариату знакомый мой пристрастился в ту пору, когда всеильный его папашка безбожно драл взятки с родственников именитых заключенных за посылки с различ-

ной жизненно важной на Севере «бациллой», с лекарствами, витаминами и чесноком.

Поражали меня всегда странный рабочий девиз «закладывающего — не закладывают», замечательная практическая сметка моего знакомого при многочисленных ростовщических операциях и обострившееся в нем после лечения знание советской жизни. Например, под заклад партбилета он никогда не давал больше трешки на недельный срок. Однако мог дать и пятерку, но только в том случае, если закладывавший как-то доказывал, что на такое-то число в министерстве назначено закрытое партсоборание, или предъявлял повестку с вызовом в райком партии на разбор персонального дела.

Кандидатские и докторские дипломы, удостоверения заслуженных мастеров спорта СССР, значки лауреатов государственных премий, именное оружие времен гражданской войны и порнографию, ради поправки украденную юными алкашами у выездных родителей, знакомый мой и в грош не ставил, поскольку вся эта ненужная, в сущности, дрянь подолгу не выкупалась некоторыми опустившимися обывателями.

Кстати, самую большую сумму из когда-либо выданных — одиннадцать рубчиков — получила однажды за усыпанный диамантами орден Победы запойная в тихую тряпочку домработница отставного одного маршала, тетя Нюся. Это была всеобщая любимица

деклассированных жильцов нашего многоэтажного «номенклатурного» дома на Фрунзенской набережной. Пила она зверски еще со времен войны. Но однажды в доме хворавшего маршала наложено было жестокое табу на все спиртное. Для пущей охраны табу родственники маршала выдрессировали в питомнике КГБ злющего и нервного эрдельтерьера. Учувя чекушку в маршальской заначке или в закутке тети Нюси, он просто выходил из себя, мог укусить за что попало даже непьющих членов семьи и рыскал по всей квартире, словно безумный участковый, с залихватным воем, пока не находил заначку и ее при нем не выливали до последней капли в сортир.

Так что тетя Нюся, затравленная Алкашом — так звали умное животное — и жившая, как при коммунизме, то есть на полном обеспечении, но без выдачи на руки денег, вынуждена была закладывать перед запоями и после них особо ценные маршальские регалии моему знакомому. Она и ночевала в запойные дни у него на квартире. О появлении ее в доме маршала не могло быть и речи до полного отрезвления, похода в парную и дезодорирования всего организма от сивушных миазмов народными средствами. Алкаш натаскан был так, что при заходе любого человека в квартиру, включая маршала, вскидывал передние ноги на плечи и сдержанно поначалу рычал: «Дыхни, сволочь!» Если от человека этого чем-нибудь разило, Алкаш, не будучи

вовремя уведенным на балкон, отходил от разившего, затем с разбега вновь бросался ему на грудь, толкал, валил на пол и, брызгая в лицо густой, с виду пивной пеной, бешено вылаивал что-то непримиримо антиалкоголическое. «Переключить бы этого зверя на борьбу с брежневской коррупцией, — любил первое время говаривать маршал, начальственно наслаждаясь конфузom какого-нибудь непросыхавшего гостя или тети Нюси, — давно бы уж имели ракетно-ядерное превосходство над США».

Но в конце концов от Алкаша в маршальском доме совсем не стало жизни, а уморить пса, как не раз предлагал дружок хозяина — первый зампредгоскомитета по охране окружающей среды, было невозможно: маршал враз запил бы с тетей Нюсей и его хватила бы последняя, обещанная «убийцами в белых халатах» кондрашка. «Вот пройдет сорокалетие со Дня Победы, — втолковывали маршалу в отделе пропаганды ЦК КПСС, — и пей тогда сколько в тебя влезет. А на торжествах ты нам нужен. Ты у нас все еще живой символ войны и победы. Молодежь ведь наша собирается не воевать, а котелки в окопах выменивать у американца на джинсы и наркотики... Уважь...»

Все эти подробности я рассказываю не ради свойственной авторам прозаических произведений болтливости, но для того, чтобы обрисовать нашу историйку со всевозмож-

ных сторон, тем более талантливая, натасканная собака играет в ней не последнюю роль.

Однажды, после того как в День Вооруженных Сил все многочисленные гости вынуждены были пить вместо коньяка болгарский виноградный сок и шведское какао из «Березки», терпение маршала лопнуло. Он намерен был загладить свою вину перед старыми боевыми товарищами, чтобы пили они что хотят и сколько хотят, а не вжимали бы головы в плечи, словно от пронзительного воя «юнкерсов», от рычания сующего свой нос в фужеры «поганого, курчавого господина на четырех лапах».

Тетя Нюся пристроила собаку к моему знакомому, заплатив ему из маршальских денег целых десять рубчиков за беспокойство и уборку возможных экскрементов. Выводить Алкаша на бульвар в первомайские дни было совершенно невыносимо. Аллергия собаки к алкоголю была такой мощной и стойкой, что ее просто начинало пошатывать на улицах столицы во времена всенародных празднеств от массового сивушного перегара. Она не имела даже сил поднимать правую заднюю ногу у пограничных столбов на своей территории, не то что свалить наземь какого-нибудь невинного гуляку.

Разбитый параличом начальник Воркутинских лагерей, увидев пса, попытался улыбнуться, но лицо его, и без того передернутое сикось-накось после удара 5 марта 1953 года,

так раскосорылило, что на Алкаша это произвело замечательно веселое впечатление. А главное — его успокоило и обрадовало отсутствие в квартире запахов спиртного. Парализованный генерал, естественно, не употреблял, а знакомый мой предупрежден был врачами, что алкоголь в смешении с транквилизаторами бросает в многолетнюю кому.

Одним словом, все эти существа неожиданно привязались друг к другу. Мой знакомый — и до принудления страшно одинокий человек — мог часами пороть Алкашу разную чушь насчет тайного сговора правительства с инакомыслящими, целью которого было постепенное уничтожение советской власти. А бывший гроза Воркутлага погружался в идиотическую дремоту, когда Алкаш сонливо пристраивался у него под боком.

Мне-то кажется, пес до того поражен был непохожестью двух человеческих типов мужского пола на всех остальных, встреченных им в жизни, что без памяти влюбился в них обоих. Это действительно была натуральная влюбленность, захватывающая развитое более-менее органическое существо до полной заморозки и сладостного обмирания зрения, слуха, а в нашем случае — и нюха. Чувство осязания, замечу, необыкновенно при этом раздражается, словно исполнительный служащий, почему-либо вынужденный вдруг взять на себя функции нескольких неудержимо загулявших коллег.

Влюбленное существо просто не может порою просуществовать и пяти минут без прикосновения к очаровавшему его объекту, потому что прикосновения эти становятся единственной его связью с миром из-за пребывания в глуповатом обмершем состоянии прочих чувств. Без нежных и, на первых порах, невинных прикосновений очарованное существо либо себя чувствует какой-то тряпкой, выброшенной за ненадобностью из среды обитания, либо начинает принимать весь мир за крайне неудовлетворительную иллюзию.

Алкаш часами мог лежать под боком у неподвижного генерала МВД, с упоением глядя на его перекоsobоченную наружность и потыкивая изредка нервным, сухим от повышения температуры во влюбленном теле носом в неподвижную его щеку или в бесчувственное плечо. Восприняв как-то там прикосновения пса, генерал выпучивал правый глаз, почти потерявший уже человеческое выражение, в попытке выразить то ли важную мысль, то ли ответное чувство. Из левого же, полуприкрытого омертвевшим веком глаза, из высохшего, словно водное устье в пустыне, уголка его начинали скудно слезиться слезинки. Тогда пес осторожно и с сердечной болью слизывал их с чуть оживших морщин окаменевшей щеки, повинувшись некой властной природной, но, вполне возможно, надмирной Силе, восполняющей беспредельно находчиво, хотя зачастую, на наш взгляд, беспредельно неразбор-

чиво, недостаток тепла жизни в одном существе нежным и бурным переизбытком его в существе другом.

Несчастный паралитик сходил уже под себя, но пес, не чуя едкой вонищи, все старался растормошить его, все подтыкивал трогательно носом, все тихонько повизгивал, вызывая на разговор и пребывая, как бы то ни было, в некотором недоумении насчет необычности положения неподвижного человека.

Знакомый же мой наблюдал за всем этим торжеством всемирного любвеобилия с таким, как ему казалось, видом, с каким великий Ньютон посиживал, бывало, на берегу океана Истины. То есть вид у него был совершенно шизофренический — вид человека, ошибочно, к своему несчастью, возомнившего себя мыслителем-практиком марксистско-ленинского типа и осененного наконец какой-то блистательной идеей, близкой к основоположениям резкого и решительного характера.

Пес, когда ему слегка поднадоедало безответное состояние генерала, спрыгивал на пол, усаживался перед моим знакомым, оцепеневшим в мыслительном трансе, и терпеливо, с глубоким любопытством наблюдал за лицом его, выразительно реагирующим на все, что происходило в искаленном мозгу — на перипетии рассудительного порядка и сонмы никому не ведомых видений.

Лиц, подобных лицу моего знакомого — философа, повторяю, по образованию, — наблюдательный пес сроду не встречал в доме маршала, потому что на физиономиях оставших, да и многих действующих донине высших советских военачальников можно заметить все — отвращение к послесталинской мягкотелости, чисто сексуальную страсть приказывания, патологическую жажду уничтожения каких-нибудь вражеских войск, муки боления за отечественное фигурное катание, непреходящую служебную обиду, святую память о штабной и окопной озверелости и многое другое, всегда имеющее отношение к житейским заботам безработных профессионалов бойни, — но только не следы напряженной умственной деятельности.

Правда, не угасавший в глазах боевых сподвижников маршала угрюмый огонек вполне мог бы показаться Алкашу приметой работы отвлеченной мысли, хотя была это всего-навсего примета вечного желания поддать, сдерживаемого вездесущим нюхом «поганого, курчавого господина на четырех лапах».

Заметив осмысленное выражение пса, мой знакомый счел возможным поделиться с ним основной, озарившей мозг философской идеей. С нею мы познакомимся чуть позже.

Мне лично не понять, каким именно образом воспринимают способные животные отвлеченную человеческую мысль, тем более мысль человека помешавшегося, но Алкаш

явно был поражен одной изящной логической фигурой, выложенной ему моим знакомым в порыве неудержимого вдохновения. Он запрыгал вокруг него, восторженно рыча и так лая, что в стену бешено забарабанил прикладом именного автомата генерал-полковник танковых войск Драгунский, который, кстати, и назвал однажды с похабной угодливостью ненавистного ему пса «поганим, курчавым господином».

Отставной этот деятель являлся лидером всесоюзного антиссионистского комитета советских евреев и давно уже ненавидел свое происхождение, считая прекрасное это, как и любое иное происхождение, не происхождением вовсе, в своем исключительном случае, но тяжкой, почетной и ответственной партийной работой.

Побарабанив прикладом, генерал-полковник начал орать через балкон: «Вы у меня насадитесь еще там, где следует... прекратить лай во время первомай... обнаглели сволочи... перрредавить всех...»

Моего знакомого все это взбесило. Он не выдержал хамства «солдафонской сволоты — этого говна-в-себе, как выражался Кант», выскочил голышом на балкон и забазлал в ответ на генеральские оскорбления: «Ничтожество, чуждое коагнисцированию абстрактных идей в сфере пластики... я харкаю со своего базиса на все твои надстройки... говно собачье и собачачье...»

В общем, ответные вопли моего знакомого, сопровождаемые солидарным захлебывающимся воем Алкаша, были беспорядочными и крайне грубыми. На балконы повысыпали уже славно поддавшие жильцы нашего «номенклатурного» дома. Показался даже Каганович, избегавший обычно демонстрации на публике каких-либо затаенных политических чувств, но дававший иногда понять, что они у него все же имеются. Из-за плеча Кагановича выглядывали с коммунальным любопытством Маленков и Шепилов. Первого мая они непременно визитировали к дружку по фракции и обсуждали за бутылочкой «хереса» перспективы международного рабочего движения. Эти трое намекнули всем своим видом, что уж при них-то подобное разгильдяйство было бы невысказано, и быстро удалились, так как строго придерживались положения подписки о неучастии в публичных мероприятиях.

Скандал разгорался, потому что мой знакомый запустил куском пайковой болгарской брынзы в генерала Драгунского, успевшего уже скинуть с плеч голубую пижаму и надеть густоорденоносный китель. Генерал остервенело заорал — как-никак он был председателем антиссионистского комитета: «Сионист!.. Тунеядец!.. Диссидентшкo!.. Антисемит!..»

Скандал утих, когда на балконе показался поддавший маршал. Его поддерживали под руки какие-то важные шишки, при виде которых отретировались с балконов даже замми-

нистра финансов СССР, директор рыбного объединения «Океан» и заведующая отделом врожденных уродств ВНИИ КРАСОТЫ, старая большевичка Фофанова.

«А-алкашенька ты ма-ая», — увидев слишком умного своего пса, заорал маршал и начал вырываться из рук дружков, как бы пытаясь устремиться по воздуху на соседний этаж, чтобы принести жрецу трезвости извинения за вынужденное изгнание из родного дома.

Тут тетя Нюся пьяно запела: «...такой сабаки не видал я сроду-у». Алкаш, набравшись за каких-то десять минут различных алкогольных миазмов, уже не лаял, не выл, а бессильно и гневно икал. От спазм брюхо его так и подводило под самые ребра. Хвост его походил при этом не на бодренький, вздорный, словно отрастающий от радостного влияния обрубок, а на вяловатый большой палец старой шерстяной варежки.

Мой знакомый, у которого, кроме всего прочего, имелся острейший «синдром Кше-синской», начал, воспользовавшись моментом, декламировать какую-то ленинскую галиматью о советской демократии как высшем типе подлинного народовластия. Выступление сопровождалось всемирно известной картавостью, энергичными вскидываниями злобной, карающей ручки и еще кое-какими фиглярничаньями, навек причисленными к нашим отечественным святыням.

Высыпавшей на балконы номенклатуре вмиг стало до того скучно и стыдно, до того обострилось в ней вдруг чувство раздвоенности, что вся она, словно по команде, сделала два шага назад — с балконов в квартиры — для немедленного возлияния и приведения себя к виду целостному и приятному.

Мой знакомый сразу сник, а пес скулил и взвизгивал, говоря хозяевам, что они — говно кошачье и плевать он теперь хотел на них, потому что бесконечно очарован неподвижным человеком, кладущим под себя, а перекоsobоченная его физиономия с окаменевшей кожей, с кожей до того безжизненной, что на ней даже борода прекратила регулярное отрастание, милее ему всех ихних нетрезвых, блудливых, вечно жрущих что-то, вечно что-то вякающих, ослабляющихся бессмысленных рож... а за возможность сидеть, пусть даже на голодное брюхо, и с безумной жаждой опрыскать любой, даже чужой, фонарь, сидеть и смотреть на другого человека, у которого в голове происходит странная, бросающая все тело в прелестные мурашки работа, — за возможность такую, плевать ему с этого этажа на колбасные обрезки, антрекоты с кровью и берцовые кости ланей, угробленных на охоте... пле-вать...

Тут Алкаш, то ли ради вызывающего протеста, то ли повинуюсь настырному зову нуждающегося естества, а скорей всего, из-за того и другого вместе — как это случается иногда

и у людей, наделенных бессмертной памятью о политическом поведении человека в здоровые древние времена, — решительно приблизился к решетке балкона, задрал мелко дрожавшую от нетерпения лапу и прерывисто ссыканул вниз. Ссыканув, очарованно взглянул на человека, имевшего в голове невообразимое количество отвлеченных мыслей, а потому и застывшего в этот момент от одной из них с видом задумчивым, почти неземным, но вместе с тем ужасно решительным, с таким примерно, с каким повсеместно забронзовел, замраморел, зачугунел, загранитился и загипсовел любимый его учитель абстрактного мышления.

Вид этот произвел что-то чрезвычайно бурное в организме пса. Он восторженно и громко произвел звук, считающийся некоторыми вконец обезчеловеченными технической цивилизацией и неорганической властью обывателями крайне неприличным даже для беспородных собак и домашних кошек. Мой знакомый при звуке этом вздрогнул всем телом, словно тихая лошадь от внезапного прикосновения, стряхнул с мозга наседавшую слишком уж навязчиво премилую абстракцию, возвратился к действительности и философски сказал собаке: «Поссать да не перднуть — что свадьба без гармошки».

Надо сказать, что был он большим любителем и знатоком народной мудрости — поговорок, поговорок и похабных прибауточек.

Они периодически выметали из его больного мозга весь тлетворный мусор умственных отвлеченностей. А не будь в природе этих превосходных уборщиков и вычистителей, то и не видать бы ему сроду временных оздоровительных возвращений к приблизительно человеческому состоянию...

Так вот, пес до того осчастливлен был интеллектуальным отношением к нему, так сказать, на равных и смыслом чудесной, на его взгляд, как, впрочем, на взгляд любого нормального человека, жизненной мудрости, что приблизился задом к решетке балкона, присел и задумчиво сосредоточился перед началом благородного действия одного из самых восхитительных устройств органической жизни на Земле. Правда, робея, подобно космонавтам, ужасного отдаления от ее поверхности, он со страхом и надеждою взглянул на моего знакомого. Он весь дрожал, устремив к нему взгляд, полный мольбы и жажды руководства собою. Мой знакомый с неподражаемо глубоким пониманием дела поджал губы и величественно кивнул головой. Алкаш закрыл на миг глаза — спасительная эта гримаса мгновенно роднит в известные моменты все живое, находящееся на разных уровнях развития, — чтобы, зажмурясь, отважиться на новый, неведомый ранее опыт высотного отправления большой нужды. Зажмурившись, быстро и мощно отбомбился, как говорит бывший командующий нашей стратегической

авиацией после того, как, прервав внезапно игру и передав костяшки «козла» Кагановичу, возвращается из домового бомбоубежища, давно загаженного доминошными пенсионерами.

Не могу не заметить тут, что разнузданное поведение бывшего командующего армадами бомбовозов и прочих его партнеров по забиву «козла», хоть и возмущает многих жильцов нашего дома, хоть и внушает оно им отвращение и гигиеническое беспокойство, но не подвигает, однако, ни на открытые протесты, ни на тайные жалобы. Наоборот, такое вот «на-сирательское» отношение, безусловно, высокоосведомленных лиц именно к бомбоубежищу сообщает обывателям, воротящим свои капризные носы от подземного смрада, весьма оптимистические надежды на то, что ядерного нападения США на предолимпийскую столицу в ближайшее время, видимо, не ожидается.

Но вернемся к собаке. Явно обладая умом аналитическим, а оттого и любопытным, Алкаш, отбомбившись, молниеносно повернулся вокруг себя на сто восемьдесят градусов, чудом протиснул голову промеж балконных прутьев, разинул пасть и с волнением, природа которого для меня непостижима, с прямо-таки космическим холодом в сердце, устремился взглядом за своими желто-бурыми «бомбешками», чтобы ни в коем случае не прозевать момент их приземления. Мой зна-

комый тоже наблюдал за их свободным падением со все глубже и глубже проникавшими в его душу тоскою и унынием — этими предвестниками беды внезапной и непоправимой.

Всего какое-то ничтожное количество времени продолжалось падение злосчастных «бомбешек», но его вполне хватило для всего неотвратимо последовавшего в дальнейшем.

В вечно философствующем мозгу моего знакомого едва успела промелькнуть пронзительная, жалостная, резко антидетерминистская мысль насчет «практической необходимости предварительного отсечения нежелательных *следствий* от некоторых удивительных *причин*»*, как на балкон второго этажа выскочил вдруг форменный бугай — директор закрытого спецгастронома Гознак Иваныч. Он свесился через перила, чтобы половчей изловить подкинутый супругой ненужный ей — дура — зонтик, и вот тут-то собачьи «бомбешки» шмякнулись прямым попаданием, правда, задев слегка левое ухо, на тройной его, бычий загривок. Звук, раздавшийся при этом, был необыкновенно смачным, громким и объемным, какой бывает обычно при пощечине, вlepенной вам или вами в удачной акустической обстановке. Мелкие ошметки «бомбешек» отрикошетили в стоявших позади Гознака Иваныча гостей и частично полетели вниз, прямо на супругу пострадавшего, а так-

* Из письма моего знакомого, пересланного с подкупленным санитаром.

же на флаг нашей сверхдержавы, вывешенный по случаю праздника над подъездом...

Мой знакомый, хоть и был он в совершеннейшем ужасе и смятении всех чувств, хотел было благородно отстранить пса от всего этого дела с тем, чтобы взять на себя как на человека официально невменяемого собачью неумышленную вину. У него уж и версия вполне приличная обмозговывалась в голове насчет *«подлинно* свободного падения тел в условиях развитого социализма, находящегося в первой фазе коммунистической формации»*.

Все, разумеется, происходило гораздо быстрее, чем я излагаю. Алкаш от какого-то там неведомого изумления не оповестил, как обычно, весь мир восторженным лаем: «Свершилось!» — но рвался понять происшедшее. И если бы он был столь же узок в плечах, как борзая — практически плоская собака, — то и шлепнулся бы наверняка следом за своими «бомбешками» на чью-нибудь невезучую голову.

Мой знакомый начал выдергивать пса с балкона, но то ли к голове его, застрявшей промеж прутьев, прилила от этого самого изумления кровь, что иногда делает голову намного крупнее, а уши растопыреннее, то ли он намеренно упирался каучуковыми подушечками лап в бетонное покрытие — выдернуть его никак не удавалось. Чувствовалось, что всеобщее изумление, породившее на ка-

* Из того же письма.

кое-то время мертвую тишину, вот-вот разорвут первые звуки жуткого скандала. Мой знакомый схватил пса двумя руками за обрубок хвоста, но тот вилял им так сильно и самозабвенно, что знакомого моего просто начало мотать, словно тряпку, из стороны в сторону. В этот миг, полностью соответствуя положению истории своей болезни о «периодически наступающих потерях чувства реальности», он завопил: «Па-а-апа!...» Ответа не было...

Гознак Иваныч — прошло всего-навсего несколько секунд после прямого попадания, — все еще свесившись вниз, тоже пребывал в некотором изумлении и даже благодушно подумывал, что гость начал шутливо пошалить. Ватага дружков за спиною Гознака Иваныча задыхалась уже от первого спазма беззвучного хохота. Подумывал он: «Какая же бестия, лярва, понимаешь, печеночным паштетом меня поцеловала?» Но приблизительно знакомый запах враз заставил его мотануть бычиным загривком — сшибить к чертям какую-то дрянь. Супруга Гознака Иваныча успела на этот раз увернуться от попадания, и до нее до первой дошел наконец смысл случившегося...

Вопля ее, бросившего в ужас всех его услышавших, описать невозможно. Было ясно, что если бы на голову ей внезапно свалился с балкона сам Гознак Иваныч, то вопль был бы иным, более интеллигентным, что ли, менее утробным и не таким допотопно-зверс-

ким. Вопль этот мгновенно перемалывал на мелкие кусочки слова, вылетающие с ним одновременно из начальственной глотки Ниины Орденовны. Названа она была так по-ранне-советски в честь НИИ, в котором работал ее отец, Орден Трофимович, за большую взятку и из карьеристских соображений переименовавший себе имя в тридцатые годы — годы великих перемен.

Перу моему не под силу описать скольконибудь реалистически, а тем более поэтически, картину всеобщего дворового и домового скандала со всеми трагикомическими сценами, невообразимыми репликами и фантастической логикой поведения участников... Не под силу...

Скажу только, что первым делом, задолго еще до принятия очистительного душа и орошения заливка бутылкой французского одеколна «Портос», Гознак Иваныч начал отчаянно мудохаться свою Ниину зонтиком, рыча при этом: «С ним ты не могла пойти?.. С ним ты не могла пойти, сукоедина?»

В строго философском смысле, как впоследствии считал мой знакомый, Гознак Иваныч был прав, потому что зонтик, вернее, желание Ниины Орденовны во что бы то ни стало вернуть его с улицы прямо в квартиру могло сойти за первопричину случившегося. И, мудохая супругу зонтиком, Гознак Иваныч, подобно многим людям, из среды которых выходят историки, начисто лишенные

чувства трагического, спецы по советскому праву, профессиональные демагоги ЦК КПСС, туповатые учителя, дубовые околоточные и — нелишне будет заметить — «просвещенно» философствующие юдофобы, а также безумцы вроде моего знакомого, ожесточенно думал о том, что было бы, если бы зонтика этого проклятого не было?

Все же его как-то уняли. Всех гостей вместе с супругой он сразу повыгонял, гоняясь за ними по квартире с почетным серебряным топором, полученным из рук Микояна за внедрение в торговлю прогрессивного метода пересортицы мяса, благодаря которому обыватель ничего не терял в смысле веса, а правительство и мясники получали сверхприбыль.

Разогнав гостей — подлый их хохот Гознак Иваныч поклялся не забыть вовек, — он собрал в фужер смердевшие еще на балконе вещественные доказательства, подхватил почетный топор и направился было к лифту. Спohватившись, вернулся, вылакал из горла полбутылки «Двина», сказал с бесконечным сарказмом: «Первое мая, блядь» — и тогда только поднялся на лифте к квартире моего знакомого.

Намерение у Гознака Иваныча было простое и твердое. В предвкушении справедливой мести он думал: «Сначала разрубаю вдоль, потом — поперек... мы не в царской России... у меня, понимаешь, Галина отовари-

вается прямо в кабинете... а субпродукты я этому шизуку вокруг шеи намотаю...»

Но мы тут не будем думать, подобно выше-заклейменным типам людей, что было бы, если бы Гознак Иваныч завалился в квартиру моего знакомого пятью минутами раньше?.. Кровь леденеет в жилах... Слава Богу — этого не произошло.

В квартире уже шумели маршал, тетя Нюся и пара маршальских дружков. Все они пытались высвободить Алкаша. Тот начинал выть от боли и ужаса, когда его дергали за ноги и пробовали сплющить хоть немного с боков.

Маршал имел неосторожность заметить при этом, что с решетками в нашей стране не все еще обстоит благополучно, ни на мизиничный ноготок не углубляя подтекста. Мой знакомый, однако, вмиг встрепенулся, позабыв о причинах происшествия и набросился на маршала с воплем: «Вот где окопалось инакомыслие... вы отрицаете наши достижения... как вам не стыдно было сражаться за Родину?..»

Тетя Нюся успела шепнуть маршалу: «Не связывайся, Никиша. У него первая группа», — и в этот момент, вышибив дверь плечом, в квартиру ворвался Гознак Иваныч с почетным серебряным топором, занесенным над головою.

Увидев маршала, хоть тот был всего лишь в наполовину парадной форме, то есть при

всех орденах, медалях и позументах, но в выцветших ситцевых шароварах, яростно обиженный мясник слегка растерялся, изменил направление и дал понять, что собирался поугагать не собаку, а «шизика».

Оба маршальских дружка, бывшие в штатском, воспользовались его растерянностью и вытащили из карманов трофейные еще «вальтеры», из которых они любили палить в небеса во время различных праздничных салютов.

— Сдать холодное оружие! — немедленно приказал один из дружков.

— К ноге! — скомандовал другой. — Я тебе, мерзавец, покажу партизанщину.

— А вы, если б вам на голову сверху наспрали, улыбались бы вы, что ли, товарищи? — возопил обиженный.

— Если б да кабы, не нужны были б генеральные штабы, — по-кутузовски отбрил его маршал, преградив дорогу к вывшему Алкашу.

— Нам, господин, не дерьмо собачье некогда валилось на головы, а кое-что посерьезней. А вот — выжили и Родину спасли, — сурово сказал дружок маршала.

— И улыбались при этом, не пряча головы в кальсоны, как некоторые нынешние «величайшие полководцы», — осмелившись на глубоко антиправительственный намек, добавил второй дружок маршала.

— Тебя что, контузило? — пошел в наступление маршал. — Распустил вас тут ко-

миссар. С серебряными топорами разгуливаете?

— У меня, между прочим, Галина отоваривается, — вякнул по тупости Гознак Иваныч, до которого, хоть и был он грубой дубиной, дошли оппозиционные намеки отставных сталинских военачальников.

— Блядь... блядь... блядь твоя Галина, — взорвался маршал, — ей давно пора из жопы ноги повыдергать. Бриллиантщица... покупает за валюту наших парней призывного возраста... тыловая блядь... семеечка эта вот-вот у нас доиграется...

Тетя Нюся во время этого разговора до того додергала бедную собаку за ноги, что у Алкаша сил больше не было выть. Он только горестно поскуливал и задерживал иногда дыхание, чтобы только не воспринимать ненавистного сивушного запашища.

Мой знакомый совершенно очумел вдруг от такого количества инакомыслия в своей квартире, да и вообще напор всего случившегося в тот праздничный день слишком уж был тяжел для его стебанутого как-никак мозга. Окончательно поехав, он перестал дрожать от вполне нормального страха, подошел к Гознаку Иванычу и сказал:

— Нелепо инкриминировать животному того, чего оно априори не могло совершить. Невозможно представить, не сдав позиций субъективному идеализму, опережения причины следствия. Как, позволительно спросить

у господ эмпириокритицистов, собака могла собьектировать вниз экскременты, если задняя ее часть находится не над землею? — Все присутствующие враз бурно отделились процессу осмысления сказанного, уставившись псу под хвост, и свет понимания озарил их угрюмые лица. — Нонсенс, — продолжал мой знакомый, — торжествующий нонсенс!

— Кто же тогда гадит в доме? — сказал Гознак Иваныч.

— Эрго — ваш покорный слуга, — доверчиво воскликнул мой знакомый и рассмеялся со светскою непринужденностью.

— Больше некому, — сказал маршал, взглянув испытывающим взглядом на генерала-паралитика.

Казалось, ничто уже не могло удержать в тот миг Гознака Иваныча от занесения почетного топора над головою сумасшедшего человека, и он безусловно разрубил бы его до основания, а там бы тот сам, как шутят у нас в народе, рассыпался, если б не молниеносный бросок Алкаша. То ли морда собачья осунулась постепенно от нервотрепки и повсеместного скопления алкогольной вонищи, то ли вывернулся он случайно из натуральной головоломки, как выворачивается иногда из головоломки игрушечной скоба или колечко, но, почуяв опасность, угрожавшую новому странному другу, высвободился он, бросился прямо под топор на грудь обезумевшего Гознака Иваныча и завалил его на пол. Огнедышащая

пасть собаки и бешеный оскал ее клыков под-
успокоили покушавшегося, который вмиг со-
образил, что все получилось к лучшему.
хотя — это успело промелькнуть в мозгу —
от любого худшего его вызволила бы Галина,
дочь Леонида Ильича, совместно с замген-
прокурора СССР по высшей мере Скончае-
вым.

После всего этого общий напряг как-то по-
шел на убыль. Собаку оттащили от добавочно
пострадавшего Гознака Иваныча совместны-
ми усилиями. Алкаш не мог уже успокоиться
и кидался на всех поочередно, поскольку на-
век был, так сказать, запрограммирован на
агрессивное отношение к выпившим людям.

Гознак Иваныч первым вырвался из квар-
тиры, пообещав всего этого так просто не
оставить. За ним вырвались остальные.

Не забудем, что в это самое время окрест-
ный люд с ярою спортивной злостью и с не-
слыханным азартом поглощал спиртные запасы.
Все чувствовали себя обманутыми. Разнес-
ся слух о том, что правительство намеренно
спровоцировало как пьющее, так и непьющее
население на форсированную закупку коньяка,
водки и портвейнов, с тем чтобы бороться с
инфляцией его же руками.

Никто, разумеется, не заикался ни о каких
открытых формах мести, хотя многие болель-
щики приняли в те дни вполне самостоятель-
ное мстительное решение тайно болеть на
Олимпийских играх за какую-нибудь капла-

говскую команду, делая, однако, вид, что болеют за спортчесть своей Родины.

Первое мая сообщило — ко всему прочему — отчаянновынужденному, массовому запою разнузданный праздничный характер. Скандалы, возникшие по вине нервного пса, который по таким большим праздникам чувствовал себя совсем уж не в своей тарелке, нисколько не сбавили темпов общего веселья, не уняли застольного желания пить во все горло, снова пить и снова вкусно закусывать.

Во многих квартирах возникали деловые разговорчики насчет возможного освобождения квартиры моего знакомого, потому что Гознак Иваныч, а особенно супруга его, Ниина Орденовна, громогласно объявили с балкона, что знакомый мой «проведет остаток своих дней на Канатчиковой, где он может ходить под себя сколько ему влезет».

Острожелающие расширения жилплощади, в том числе и Ниина Орденовна, расчетливо и не глупо сообразили, что генерала-паралитика теперь-то уж наверняка поместят в какой-нибудь дом для престарелых чекистов, откуда он никогда не выйдет. Вокруг квартиры его начнется интриганская возня. К ней надо соответственно подготовиться. Заручиться поддержкой членов домового комитета, зазвав их срочно в гости и настроив против враждебных группировок.

Слухи о готовящемся водворении моего знакомого в психушку дошли до тех, кто зак-

ладывал у него разные документы, ордена и антикварные ценности, а заодно и до начинающих авантюристов, и вот как драматически развивались последующие события.

Как только компашка маршала вместе с невезучим Гознаком Иванычем покинули квартиру моего знакомого, Алкаш вновь вспрыгнул на кровать и улегся рядышком с бессловесным генералом. Улегшись, принял решение не возвращаться больше в дом маршала и не иметь никаких дел с тетей Нюсей, вывихнувшей ему слегка ноги при вызволении остатального тела из случайного капкана.

Как уж там оформляются нейрофизиологически собачьи решения и как окостеневают они в существе животного, превращаясь в никем и ничем не разрушимые принципы поведения и, смею утверждать, мировоззрения, бихевиористам ни черта не известно. Но и без бихевиористов ясно было по виду пса, что старый хозяин брошен им навсегда.

Алкаш, скуля, облизывал неподвижную физиономию бывшего воркутинского владыки, но вдруг начинал угрожающе рычать, оскаливать клыки и старался что-то такое сделать с кожей спины, чтобы встала на ней дыбом жесткая и курчавая шерстища. Затем внезапно поджимал хвост и, тоскливо визжа, засовывал голову под подушку.

Одним словом, круто изменившая судьбу свою собака поразительно напоминала всеми нервными, несдержанными жестами и вскри-

киваниями милую женщину, только что, к своему удивлению, сбежавшую от алкоголика-мужа к человеку положительному и в высшей степени кроткому, но преследуемую даже в мимолетной, хрупкой дремоте мужниными безумствами, а потому и ищущую истерически защиты у нового, впавшего в полный столбняк от такой неожиданности покровителя...

Пару раз Алкаш, просто выведенный из себя зрительными и слуховыми галлюцинациями, спрыгивал на пол и, бешено отлаиваясь, пятился задом к балкону, как бы намекая на то, что он скорее допятится вот так до самой бездны и рухнет в нее, чем изменит бесповоротное решение.

Что происходило при этом с психикой и душевными чувствами парализованного генерала, останется неизвестным. Но он что-то тихо мычал, а глаза его, и без того выпученные, странно рвались из орбит в попытке выразить то ли чувства, то ли мысли. А ведь того и другого должно было быть огромное количество в давно остолбеневшем существе знаменитого сталинского лагерначальника.

Я-то уверен, что собака правильно и тонко воспринимала все его умственные и душевные движения. Будь на месте сына этого пригвожденного не стебанутый учитель марксизма-ленинизма, а вполне нормальный какой-нибудь дурак, он непременно приметил бы слабые, почти неуловимые, но все же совер-

шенно явные признаки воскресения безжизненной, в известном смысле, человеческой натуры.

В ней, обретшей вдруг от порыва необъяснимой собачьей любви некую целостность, могли вскипеть зловредные яды чувств и мыслей поистине адских, принявших вид тупого, бессильного проклятия всему ненавистно живому. В приблизительно таком виде бывший генерал и профигурировал почти всю свою жизнь до удара. Но что, ежели под воздействием собачьей любви и ласки в натуре человеческой произошло нечто до того откровенное и всеочистительное, называемое в совсем иных случаях самораскаянием, нечто до того восстанавливающее в помутненном рассудке и омертвелом сердце больного или страшного грешника Образ Жизни и Образ Мира, что затрепетала в грешном больном бедная, изначально наивная Душа, как трепещет она в окровавленном плоде людской любви, вышедшем только что на свет Божий из разверстого чрева матери? Что тогда?..

Мой знакомый был в стороне от всего происходившего с его родителем и собакой. Он выводил на оборотной стороне куска обоев явившуюся ему наконец-то гениальную мысль. Выводил тряпочкой, намотанной на огрызок карандаша, окуная тряпочку эту в пузырек с чернилами, и ничего, естественно, вокруг не замечал. Из глаз его текли счастливые слезы, из носа — от ненормального пе-

ревозбуждения — сопли, он кусал губы, и с них срывались бессмысленные слова — случайные ошметки философских знаний. Изредка застывал недвижимо, как бы отстраняясь от мощи нестерпимого, упоительного глубокомыслия.

В мозгу его не было также представлений ни о времени дня, ни о ситуации в доме, ни о тревогах опустившихся людей, заложивших у него всевозможные вещи и документы. Он рвался душой, как говорится, и телом посочинять тому, что открылось ему в эту звездную минуту.

Запечатлев мысль, рассмеялся выбивающим слезу из ока смехом, в котором только опытный наблюдатель сейчас же заметил бы жалобное дребезжание болезненной театральности. Театральность эта, сжимающая сердце ваше внезапной болью, словно чужая открытая рана или горе постороннего человека, невольно производит страшное подозрение. И вы думаете: а что же это за режиссерище поганый проник то ли в разум, то ли в душу помешавшегося и все репетирует, сволочь, репетирует черт знает что и потирает ручки, довольный развитием отвратительного спектакля?

Никому, конечно, не додуматься: что именно представляет из себя режиссерище, но ужаснувшая вас театризованность любого маниакального разговорчика стебанутого человека — а сколько их, этих несчастных, в

пределах нашего мира! — театрализованность любого его, особенно величественного, жеста, не говоря уж о смехе, резко контрастирующем с выражением жуткого страха и азартного любопытства, застывшего в глубине глаз — образ детишек, чумеющих от фильма ужасов, — все это повергает вас в нерасхлебываемую кашу неотвязчивых, печальных мыслей о беззащитности нашей психики и легкости, с которой внушаются ей, черт знает опять же кем, всякие безумные представления. И вы, повторив про себя откровенный вопль поэта, чувшего при всем своем душевном и умственном здоровье непосредственную близость адских бездн безумия: «Не дай мне Бог сойти с ума!» — все же не избавитесь уже вовек от беспокойства, сводящего спину внезапной дрожью общей гадливости, что и вас порою кто-то затягивает в поганую самодеятельность, где под гипнотическую суфлежку вот-вот понесете вы несуразную чушь, черт знает что вытворите и дребезжаще при этом захохочете...

Кстати, правительство наше потому и подвергает сотни людей принудительному «излечению» от того, что ему мерещится безумным в образе поведения и умствования обывателя, что оно достаточно маниакально представило себя Богом по отношению ко всем нам и, что еще печальнее, по отношению к самому себе. Укрепившись же за полвека с лишним в этом бесчеловечном представлении, оно делает

все, что взбредет в его очумевшую голову. То есть сводит массы людей с ума, *дает* им *сойти с ума* и считает массы самоубийственно мыслящих безумцев послушными гражданскими толпами. Нормальным же людям, вставшим либо на защиту своего личного достоинства, либо вслух удивившимся очевидным безумствам социальной, культурной и внешнеполитической жизни страны и лживым выкрутасам поведения правительства, правительство *не дает*, по преступному его убеждению, *сойти с ума* и насильно уволакивает их в психушки, где и залечивает частенько до необратимой стебанутости...

Безусловно, мой знакомый был одним из тех, кому правительство дало *сойти с ума* еще в юности, но безусловно и то, что «излечивать» в психушке следовало поначалу не его, а правительство, поскольку весьма странно пытаться избавить человека от кашля, напяливая на кашляющую физиономию звуконепроницаемый намордник, но оставляя при этом в покое причинных, поразивших гортань, микробов...

Он долго еще любовался пришедшим на ум философским открытием и абсолютно был уверен как в теоретической, так и в практической его универсальности.

Полюбовавшись, свернул крупно исписанный свиток обоев в трубочку. Праздничность взволнованного состояния сама собой подвигла моего знакомого к мысли насчет приба-

рахлаиться. За будничной своей одеждой он никогда не следил, вернее, забывал о ней, хотя непонятно почему брюки его, рубашки, галстуки и купленный некогда в «Березке» плащишко, давно позабывшие о стирке, глажке и химчистке, выглядели всегда довольно свежими. Только тихонький какой-то, стойкий и ни с чем не сравнимый запашок — запашок вещей, вынужденно пребывающих в невозможно унижительном для них качестве и издевательском долголетии, — говорил вам о беде, о запущенной болезни существования безумца.

В акции, на которую он решился, нисколько ее предварительно не обмозговывая, все должно было быть прекрасным — и глаза, и одежда, и мысли. Глаза уже восторженно сияли и даже слезились сентиментально от излишнего восторга. Мысль, запечатленная на обойном свитке, была... была... была... «Катаклизм в истории философии... эпоха... вершина... рассвет советского картезианства, эрго — народовластия...»

Выкрикивая это с вызовом, он распахнул на глазах безмолвного родителя дубовый шкаф. Там много уже лет висела генеральская одежонка, порядком изъеденная вольною молью. Напялил первым делом на голову фуражку. Не заметил того, что целыми остались от генеральской фуражки лишь золотые позументы на черно-блестящем козырьке и не съедобный для моли околыш. Но размер головы

у моего знакомого был намного больше, и только поэтому фуражка не сползла ему с макушки на шею.

Глазами своими, и без того выпученными, паралитик как бы пытался одернуть безумца-сына. Он что-то мычал. Алкаш, остро желая перевести мычание на собачий, выразительно полаивал. Мой знакомый не обращал на них внимания и уже натягивал на себя брюки с лампасами. Затем надел перед зеркалом парадный китель с многочисленными орденами. Обычно ордена держатся на кителе, но на этот раз китель держался на орденах, потому что материал его до того обветшал от сперттого многолетнего хранения и полков насекомых, осаждавших его все это время, что был немногим тяжелее воздуха и просто прилип к голому телу, чтобы не пасть в окончательный прах. Генеральские брюки были примерно в таком же тленном состоянии, и ноги моего знакомого казались кривоватыми стволами какого-то экзотического, инопланетного растения, источенного сплошь инопланетными же паразитами. Не забыл мой знакомый прицепить на себя и ремень с кортиком, которые выглядели как новые и блистали золотым материалом, явно гордясь, что моли он не по зубам. Со штиблетами тоже ничего особенного не произошло после того, как генерал-начальник Воркутлага брякнулся во всем своем парадном облачении в театре, услышав достоверное известие о смерти начальника

всего Соцлага. Брякнулся и больше никогда уже не принимал вертикального положения. Штиблеты имеют такую зловредную особенность — стаптываться, жухнуть и трескаться намного раньше остальных частей хозяйского туалета, пока хозяин сравнительно здоров и вообще жив, но переживать на многие годы все эти кителя, брюки, носки и кальсоны после смерти хозяина или прекращения его передвижений в пространстве.

Именно из-за такой вызывающей зловредности штиблет, которые увидел генерал в наклонном зеркале, его чуть не прошибла последняя кондрашка. Необычная активность чудесного, неподвижного существа так взволновала пса, что он начал стаскивать с него зловонное одеяло. Однако он никак не мог помочь генералу ни приподняться, ни произнести какую-нибудь команду, один лишь звук которой мгновенно парализовывал волю и достоинство подчиненных в иные, служебные, времена.

От невозможности предупредить дальнейшие действия безумного сына, а заодно и плюнуть в ухмыляющуюся рожу штиблета левого и в сияющую перед выходом харю штиблета правого, на губах генерала запузырилась пена. Оба глаза просто выходили из себя в немом отчаянном вопрошении.

До моего знакомого, успевшего уже уложить в рюкзак кое-какое альпинистское снаряжение, дошло наконец беспокойство родителя.

— Следую на демонстрацию, — сказал он. — Несу Декарта, поставленного с головы на ноги впервые в истории. Транс-па-рант. И ходи тут не под себя, а в себе, как говорил путаник Кант.

Затем он привязал к ошейнику Алкаша ремешок от своих брюк. Пес, почуяв близость прогулки, спрыгнул с кровати, но пролаял любимому истукану, что скоро возвратится и вновь примется его тормошить.

Мой знакомый последний раз требовательно проинспектировал в зеркале свою внешность. Наверняка он остался собою доволен. Благодаря навек покоробленному чувству реальности какое-либо явление, даже явление самих себя, видится безумцам не в лучшем и не в худшем виде, а поистине в другом, ни с чем не сообразном свете.

Даже паралитик содрогнулся, следя глазами за величественным фиглярничаньем маньяка перед зеркалом... Фуражку он надел немного набекрень, вызвав на миг этим ужасающе жалким кокетливым жестом в памяти несчастного отца образ жены его, наводящей на себя марафет перед походом в Дом культуры Воркутлага... Привел в порядок орденский барельефчик на груди... не положено налезать «Красному Знамени» на «Ленина», а медали «За оборону Москвы» на «Знак Почета»... не положено... «Кутузов» же второй степени тоже торчит вверх тормашками, наподобие Декарта до моего вмешательства...

Орден «Отечественной войны» мой знакомый снял с груди вместе с истлевшим куском кителя, чтобы не потерять в хождениях по городу, после чего взял под мышку исписанный свиток, сдернул собаку с кровати, поправил рюкзак за спиною и вышел из дому.

Генерал же спасительно забылся в очередной раз в воспоминании о давних днях и событиях...

Генералов и даже маршалов в нашем доме проживало множество. Их привыкли видеть и в парадной форме, и в штатском, и в полосатых пижамах. Может быть, поэтому на моего знакомого никто тогда не обратил внимания. Кроме того, день был праздничный, обыватель так или иначе окосел и приглядываться, как во времена пристально-раздражительной трезвости, к мельтешащим повсюду соседям не желал.

Если бы в такой вот день вам вздумалось возопить с балкона или из окна о неотложной помощи, о том, что дубасит вас палкой твердокопченой колбасы товарищ по застолью — дело было однажды с замгенпрокурора СССР Скончаевым, — что погибает ваша мама от сердечного приступа, что взорвалась газовая духовка, что прорвало канализацию — архитекторы вредительски не учли резкого увеличения нагрузки на трубах, особенно в дни Первомая, — если бы на ваших глазах погрузили в грузовик все имущество дипломата, бывшего с семьей на чужбине, и даже

изнасиловали пьяную народную артистку РСФСР — никто не обратил бы внимания на ваши вопли, а сами вы впоследствии удивлялись бы, что «ничего такого в смысле изнасилования не заметили».

Только такой вот потерей в праздничный день всякой наблюдательности и вообще бдительности жизни можно объяснить то, что мой знакомый, выглядевший, согласитесь, весьма необычно в полуизглоданной молью генеральской форме, при собаке, с рюкзаком за спиной, с торчащим из фуражки затылком и почти при всех орденах, не привлек к себе трезвого внимания обывателя.

Правда, первомайский день клонился уже к закату. В сумерках подвыпивший прохожий как-то инстинктивно переносит центр своего внимания извне во внутрь, шарахаясь от надоевших демонов действительности, и как бы отключается от нее на непродолжительное время, а многое необычное относит тогда не к ней, но к каверзам расшалившегося воображения.

Так или иначе, но знакомый мой все же прошагал по всей Фрунзенской набережной с частыми — из-за мочеиспусканий Алкаша — остановками и вынужденными кружениями вокруг облюбованных фонарей, миновал Волхонку, Манеж, Охотный ряд — не забудем, какое там в такие сумерки количество гуляющего обывателя, в том числе и отставных, неряшливо одетых офицеров в фуражках и без

фуражек, — покрутился, опять же из-за Алкаша, в гомосексуальном скверике перед Большим театром, всплакнул, вглядевшись в громадные физии Маркса — Энгельса — Ленина, заляпавшие чудесную колоннаду белокаменного красавца, потом постоял задумчиво у памятника драматургу Островскому, шепнул ему: «Не было ни гроша, да вдруг алтын», дернул за ремень Алкаша так, что тот присел на мостовую от удивления, и решительно направился к своей цели — Лубянской площади.

Весь этот проход моего знакомого по улицам, площадям и скверам, кишевшим, между прочим, явными и тайными представителями карательных органов, которые в такие дни с высунутыми и соответственно тщательно спрятанными языками охраняют покой правительства, должен быть, конечно, отнесен к роду чудес, изредка случающихся, что бы там ни говорили отчаявшиеся скептики, в жизни нашего атеистического общества.

Он чуть было не погорел, когда, проходя мимо памятника первопечатнику Ивану Федорову, истерически, но не совсем нелогично вскрикнул: «Сегодня же, господин полиграфист, мы покончим с вашим самиздатом, эрго — с инакомыслием...»

К знакомому моему, услышав эти слова, просто бросился на грудь застрявший в Москве пьяный и изнемогающий от одиночества командировочный. Если бы не Алкаш, обла-

явший и слегка куснувший провинциала, еще больше из-за этого возненавидевшего отвратительный ему стиль московской жизни, неизвестно, какое продолжение было бы у этого рассказа.

Командировочный провинциал отпрянул враз от моего знакомого, хотя в руке у него, слишком уж пылко обнявшей незнакомого человека, остался каким-то образом кусок воротника.

Он перепугался последствий, рассматривая тупо кусок этот генеральский, шитый золотом. Затем нырнул в подворотню Центральных, всем моим сердцем любимых бань, откуда, на его счастье, пахнуло вдруг в бездушную пустыню столицы березовым распаренным веничком и образом подлинного удовольствия.

«Подраспустились... подраспустились», — отметил про себя с высшей степени правительственной озабоченностью мой знакомый, поправил погон, укрепил свалившуюся на плечи фуражку и, оттаскивая то и дело Алкаша от витрин «Детского мира», одолел последний подъем к Лубянской площади.

Движения машин на ней в тот час почти не было. Переходя площадь, он, как бывалый в прошлом альпинист, почувствовал ни с чем не сравнимый азарт предвосхищения рискованного восхождения, вновь предпринимаемого после неудачной попытки. И оттого, что в руке у него был ремешок, а позади послуш-

но шел в ногу Алкаш, душу моего знакомого переполняло альпинистское же чувство связки. Поговаривают, что на какое-то время чувство это вытесняет из существа альпиниста все прочие чувства и привязанности. Восходитель, либо скалолаз, почуяв однажды строгий пафос высокогорного товарищества, начинает с тоскою и разочарованием относиться к иным многочисленным связям, опутывающим почти безвыходной паутиной постылые низины служебной, партийной, общественной и семейной жизни. Недаром альпинисты — все до единого — подходят под категорию особо неблагонадежных лиц и занесены в секретные списки. В них они расположены даже над евреями, татарами, литовцами, таксистами и структуралистами.

Я-то подозреваю, что, кроме всего прочего, правительство бессознательно потрухивает альпинизма, особенно альпинизма массового, потому что оно совсем уже очумело от беспокойства, связанного с заботами об охране Вершины Власти. Мало ли что взбредет в голову обывателю, любящему восходить черт знает куда и черт знает зачем?.. Сначала пик Ленина, потом пик Сталина, потом возьмутся за альпенштоки и в дружных связках ринутся покорять Мавзолей.

Примерно так рассуждая, правительство делает все, чтобы без особого шума унять вертикальные устремления мужественных одиночек, но сдержанно развивать при этом сравнитель-

но безобидный горизонтальный туризм миллионов обывателей.

Мой знакомый рассказывал мне, еще до того как «поехал», что консервы «Завтрак туриста» необходимо запретить, поскольку ЦРУ запаяло в огромную партию этих консервов листовки НТС, стихи тунеядца Бродского и призывы к народу физика-шпиона Сахарова. Он утверждал с довольно-таки изящной маниакальностью, что девяносто семь процентов отправляющихся «при любой, заметьте, погоде» в странные турпоходы являются скрытыми диссидентами, изучающими в недоступных для звукозаписывающей аппаратуры органов местах подрывную литературу. «Неужели вы думаете, говорил мой знакомый, резко вскидывая подбородок, что ЦРУ проглядело такую уникальную возможность? Они не дремлют. Поэтому я пишу докладную в ЦК о необходимости выпускать консервы «Завтрак туриста» в стеклянных банках, подобно фаршированному перцу с рисом и овощами. У нас должно быть противоядие на любую идеологическую отраву населения... Они все-таки там... наверху, слишком легкомысленны, скажу я вам, а тем временем **недремлющие** запаивают диссидентский фарш в непроницаемую посуду. И со словечком “фаршированный” пора, знаете, кончать. Да-с...»

Сам-то мой знакомый не раз восходил на несколько памирских пиков. Там, в расщели-

нах скал и в ледниках, он закладывал докладные записки и различные философские тезисы, адресованные руководящим органам будущей Всемирной коммуны. Допуск ко всем вершинам ему наглухо закрыли после того, как второй член его, казалось бы надмирно-благородной связки, доставил куда следует баночку из-под растворимого кофе с этими самыми докладными и тезисами.

Моего знакомого вызывали в горком партии. Там-то он, возможно, и начал «трогаться», поскольку никак не мог уразуметь технических деталей подлого доноса второго члена связки.

Дело в том, удивлялся мой знакомый, что член этот шел впереди, не имея возможности даже видеть, что именно заковыривает в горный массив член, сзади идущий, а уж тем более не имел он физической возможности выковырять из расщелины или ледника законсервированные послания. Моему знакомому был объявлен строгий выговор с занесением в учетную карточку. Дело, конечно, было не в содержании посланного в светлое будущее послания. Просто товарищ Гришин грубо кричал, что «партия никому не позволит обращаться к вышестоящему во времени начальству через свою голову. Ни-ко-му!». Мой знакомый заупрямился и бесстрашно одернул партоградначальника, сказав, что преследовать надо «не коммуниста, дерзнувшего мечтать при восхождении, а расплодившихся

инакомыслящих, нагло оккупировавших памятники Пушкину и Маяковскому на ваших, то-ва-ри-щи, глазах... Вы видели, какая вражеская отравка продается у подножия Ивана Федорова?... То-то...»

В дурдом его не отправили, потому что он явно занимал не анти-, а суперпроправительственную позицию, до отваживания от которой у отечественной психиатрии тогда еще не доходили руки. Восток неумоимо занимался детантом с обессиленным от долгожданной неги и очередных иллюзий Западом. Гениально лукавая наебка либерального мира, самозабвенно снявшего бронированные трусики перед бровастым провинциальным ебарем с отвисшей челюстью, шла полным ходом, и правительство могло себе позволить слегка подраспустить инакомыслящую публику.

Но партийная стратегия «детанта» как раз не доходила до моего знакомого. Тут-то он, напомню, и вылез со своей несвоевременной, вызывающей инициативой, шедшей резко вразрез с лукавым изломом генеральной линии правительства во внутренних делах нашей Империи...

Целыми днями мой знакомый после освобождения из дурдома анализировал происшедшее, разумеется, не выходя за рамки «священного положения насчет абсолютной непогрешимости правительства и априорной, хотя и недоказуемой, вины во всем каждого рядового члена партии».

Он пришел к выводу, что потерпел политическое поражение исключительно из-за того, что его практические рекомендации о физическом и гражданском уничтожении инакомыслящих некорректно опередили теоретические обоснования очередной, «горячо всем нам необходимой массовой репрессии».

Философское открытие, внезапно озарившее его мозг во время грязного дворового скандала, сразу же вознесло «пионера логической мысли» на такие высоты духа, что оттуда ему даже Маркс с Лениным, а не то что «неначитанный бюрократишко товарищ Гришин», казались незначительными букашками, а теория и практика встали на свои места. И вполне возможно, что именно такая вот безумная, надмирная самовознесенность непостижимым образом помогла ему избежать в неслыханно ветхом одеянии осмысленного внимания обывателя и приставучего взгляда ментов, когда спешил он в связке с собакою к Лубянской площади через весь многолюдный центр столичного города... Последний переход от угла «Детского мира» к запекшейся в синих сумерках ярко-красной клумбе... фантастический маневр с отшвыриванием собаки в сторону перед самым носом взвизгнувшего частного автомобиля...

Долгое предыдущее отступление от рассказа перед самою его трагикомической развязкой должно пойти только на пользу и рассказчику и читателю.

Пусть знакомый мой — безумец! Пусть образ его мыслей и в безумном виде категорически враждебен нашему с вами образу мыслей и нашим взглядам на действительность. Пусть! Но будет ли чиста и глубока наша ненависть к дьявольским утопиям и доктринам, если мы с вами, уберегшие, как нам кажется, разум и сердце от их всегадостных низин, отнесем без сострадания, то есть отнесем с неразумным бессердечием к тем, кто погибельно к ним прилепился и кому разве лишь чудесная сила поможет когда-нибудь выкарабкаться оттуда? И если мы с вами не содрогнемся не только от мучительного жизнеположения таких безумных фанатиков, как мой знакомый, но и от блистательной, на взгляд поверхностный, позиции правительства, которому пора бы уж взвыть от ужаса, омерзения и большей, как это ни странно, чем у нас, несвободы, то не будет ли это значить, что окончательно оскудели в нашей Империи запасы добродушия и что бродим мы все уже сегодня — сами того не замечая, на злорадную потеху Осквернителю Мира, — в жестокой тьме и вытравленной враждой пустыне?..

И вот, взгляните на эту картину! Чудом увернувшись от рычащей лавины автомобилей, от подвыпившей шоферни, ошарашенной тем, что не раздавила она генерала МВД со служебной собакой, мой знакомый рухнул в заросли ярко-красных цветов и зарылся в них лицом.

Он зарылся в них лицом, как прежде зарывался в цветы и в травки последней поляны предгорья, отрешаясь с бездумным упоением от всего связанного с будничными измерениями земной жизни. Обойный свиток он прижимал к себе рукою и плакал от счастья, повторяя запечатленное на нем выдающееся положение. Собака лежала рядом, как бы не совсем еще веря в перемену вонючего асфальта под ногами на никем и ничем до странности не загрязненную естественную почву и поглядывая исподлобья на угрюмо возвышавшегося над ними обоими металлического истукана.

В злодейском учреждении, расположенном напротив, загорались, несмотря на Первое мая, служебные окна. Вечно бодрствующие каратели и охранители правительства, очевидно, продолжали совершенствовать в своих служебных кабинетах планы предупреждения идеологических диверсий во время никому, в общем, не нужных Олимпийских ристалищ.

Наконец мой знакомый деловито встряхнулся, собрался с духом и вдруг закусил губы от ужаса, не найдя рядом с собою рюкзака, куда уложил он перед уходом из дома всякие скалолазные причиндалы. Алкашу тоже передались его тревожные чувства и общее смятение мыслей, и он — исключительно из повиновения зову врожденной предупредительности — начал что-то вынюхивать среди цветов, сам не зная что именно. Затем подпрыгнул, восприняв как-то там по-своему

смысл хозяйского смятения и давая знать моему знакомому, что рюкзак висит себе у него за спиною.

Тот великодушно хохотнул, как бы поясняя, что знал об этом прекрасно, но вот запоминать, как это случается с людьми, умственно возбужденными и отрешенными порою даже от самих себя.

Собака вновь улеглась среди красных цветов, дыша глубоко и часто, словно помпа, вбирающая в себя кислород, произведенный растениями, заместо набившейся в легкие, в рот и в нос праздничной алкогольной вонищи. Собака спокойно, но с большим любопытством наблюдала при этом за всеми действиями моего знакомого.

А тот, с замечательной ловкостью и с первой попытки, накинул петлю на шею Дзержинскому. Затянул ее потуже. Надел поверх генеральского золототканого ремня ремень альпинистский, со всякими скобами, колечками и замками. Во всех движениях его, если взять да и позабыть о смысле и цели этих движений, чувствовалась жесткая, волевая сноровка опытного восходителя, не прощающего ни себе, ни другим каких-либо «типично предгорных оплошностей». Все подготовив для «взлаза», мой знакомый скинул с ноги левый штиблет и прикрепил его каким-то специальным зажимом к нижней части обойного свитка в виде груза, предупреждающего в таких случаях нежелательное и раздражающее

нас скручивание бумажного рулончика в исходную трубочку.

Он по-прежнему магическим каким-то образом не попадал в поле зрения обывателя и служебных лиц, которых было видимо-невидимо вокруг. Может, происходило это оттого, что заела ничтожная пружинка с контактиком в реле, автоматически включающем наземные прожектора. Обычно они выхватывают из вечернего мрака фигуру ужасного убийцы и борца за прижизненное счастье человечества. Может, кто-то и заметил человека в простотаки рассыпающейся на нем генеральской форме и с красивой собакой, то и дело застывающей посреди красных цветов в разных скульптурных положениях, но ему, вероятно, и в голову не могло взбрести ничего подозрительного, потому что весьма опасная жизнь внутри Империи постепенно притупила в обывателе политическое и художественное — что уж тут говорить! — воображение.

Ежели накидывает кто-то в праздник петлю на шею товарища Дзержинского, значит, так оно и положено. Тем более — генерал накидывает, а собака сигнализирует своевременно, что нам не след приближаться... От голубинового говна и очищают голову Феликс Эдмундыча... пора бы говносмыватели установить у ней на висках, чем по африкам и кубам разбрасываться... Уверен, что в случайной свидетельской башке мелькали приблизительно такие нетрезвые мыслишки...

Закончив все приготовления, мой знакомый по старой привычке пробормотал заклинание, показавшееся ему в тот момент альпинистским и нормальным: «Человек с человеком не сходится, а гора с горою сойдутся, потому что дурак в горы не пойдет...» Пробормотав, плюнул разок через левое плечо и, обозревая крайне скошенным в этот момент взглядом пару золотых звезд на отцовских погонах, мучительно пытался сообразить: откуда на нем эти погоны... звездочки... синий кантик... кантик?..

«Ах, Кант? Ах, Кант? — вновь хохотнул он. — Вот ты у меня поапперцепствуешь, как мы наловчились трансформировать твою вещь-в-себе в вещичку-для-нас... эр-го: мы идем дружной кучкой по краю пропасти...»

Сказав это, он по-собачьи зажал в зубах свиток с чудесным открытием, штаблет затолкал за пазуху, натянул веревку, то есть оранжевый трос, ухватился за него покрепче, уперся одною обутой, а другою разутой ногою в подножие монумента, постоял так под большим наклоном к земле, собираясь с силами — силы-то у него после «излечения» были далеко уж не те, — и вдруг просто взмыл до самой груди бесчувственной фигуры. Обосновался голым носком ступни на какой-то выступающей детали то ли чугунной, то ли бронзовой шинельки. Передохнул. Помахал рукою Алкашу, вытянувшему вверх морду, словно в предуготовлении к недоуменному вытью. За-

тем с маху одолел последнюю крутизну, обхватил руками действительно засранную голубем и воробьем да к тому же мокрую и холодную от сумеречной росы шею, укрепил, вернее, втиснул большой палец ноги в пуговичную, как показалось ему, петлю и проклял себя в тот же миг за такую мелкую подстраховку. Большой палец застрял в дырке и никак не вытаскивался, а дергать его стало вдруг очень больно. Дотянуться же до него как-либо и повертеть руками до полного высвобождения не представлялось возможным. Опереться на что-нибудь хоть как-нибудь тоже было, как говорится, не на что.

Мой знакомый хотел было трагически раскинуть в разные стороны руки, как бы давая понять самому Року, что победа его над ним окончательна и несомненна, но, слава Богу, моментально смекнул, что рук, обвинившихся вокруг громадной шеи, ни в коем случае разнимать не следует — сразу шмякнешься и еще повиснешь башкою вниз на одном каком-то ничтожном ножном отростке, застрявшем в ничтожной выемке, может быть, даже в дырке, допущенной при литье советскими нашими халтурщиками... Э-э-эх...

От бесконечно сардонической усмешки во весь рот, столь любимой всеми почти стебанутыми людьми, его тоже удержала боязнь, что свиток выпадет, как только зальбишься, из зубов — и тогда все будет кончено.

Совершенный же ужас положения был в

том, что знакомому моему следовало схватиться вновь за трос и спуститься всего-навсего на три несчастных сантиметра вниз — палец, само собою, и выскочил бы при этом из ловушки, — а не выдергивать его кверху, словно пробку, от чего он только нестерпимо больно вывихивался.

Но дело-то все было в том, что большинство безумцев почему-то лишены нормальной способности хоть сколько-нибудь **обратимо** мыслить и действовать даже в примитивных умственных и житейских ситуациях. Дьявольская какая-то сила заставляет их еще больше и хитроумней утверждаться во всем бредово-навязчивом, сардонически же ухмыляясь над нашими попытками сердобольно возвратить их к действительности. Сила эта обезоруживает и их самих, когда вдруг задумывают они совершить самоубийство, и нас, пытающихся всякими разумными доводами удержать несчастных от безумного шага. Иной безумец, остолбенев от ему одному известного видения либо от соблазнительной мысли, от которых нормальный грешник нехотя и с зубовным скрипом, но всенепременно открестился бы, движется и движется неостановимо, хотя возможностей-то остановиться — думаем мы, тоже остолбенева от ужаса, — миллионы вокруг, он все неостановимо движется, и ничто не может его утратить в этом роковом движении — ни казнь, ни гибель под колесами поезда, ни муки пожизненного гниения в

дурдоме, ни весьма доказательные картины разверстого ада, ни страдания и вечная пытка укорами совести всех его близких... Он движется, и шаги его и мысли необратимы.

Да что, собственно, говорить об одиноких несчастных безумцах, когда целые сообщества людей ведут себя не менее загадочно и самоубийственно даже в наши, самодовольно гордящиеся своей просвещенностью времена, а от людей, правящих этими сообществами, то есть от политических лидеров и от правительств, вроде нашего правительства, за версту уже несет, уже шибает вам в носопырку необратимостью... необратимостью... необратимостью, которою пропитаны они сами с ног до головы, и мысли их, и бешеная их уверенность в бредово-навязчивом, а главное — самоубийственное движение к немыслимой жизнедробилке и бойне.

Они движутся. Они движутся, насильно вогнав нас в жуткие свои стези и сделав нас — хихикаем, господа, сардонически — замудоханной частью этого унижительного движения, не лишенной некоторого здравого смысла, совести, духовного беспокойства и тоски по достоинству и свободе.

Они — несправедливо было бы позабыть об этом — тоже втянуты в это трагикомическое бесповоротное следование черт знает куда не по своей воле, но по добровольно унаследованной инерции, и, однако ж, позвольте спросить, господа, как воскликнул однажды в

пустопосудной очереди молодой разжалованный социолог, позвольте вас спросить: сколько нам с вами еще грохотать всеми мослами по горбатой одноклейке пятилеток вслед за пыхтящим, гудящим и смердящим правительством без наличия у нас — дай-то Бог, чтобы только не у него, — естественнейшей из возможностей — возможности остановиться, отдохнуть и по сторонам оглядеться, а быть может, и хлебнуть животворного кипяточка реформ, макая в эту душевнейшую из жидкостей несчастный замусоленный сахарок и черствый хлебушек жалких наших и скромных социальных надежд?.. Сколько?.. Куда ты несешься, правительство?.. Кто тебя остановит?.. Нет ответа...

Вдруг моему знакомому удалось непонятным для него образом — то есть благодаря мгновенному удачному совмещению разных мелких обстоятельств жизни, а может быть, после тайно заключенной конвенции между живою плотью большого плененного пальца и отверстием в монументе, — неожиданно удалось высвободиться. Высвободившись, он подтянулся, позабыв про боль в пальце, и, разумеется, не мог видеть, как кровь из него — она просто била из порванного сосудика — вымазала бронзовую шинель «железного» чекиста.

Высота для бывшего альпиниста была смехотворно небольшой. Он скинул с ноги наземь второй штиблет, чтобы не скользил по

металлу плеча, встал во весь рост на это плечо, держась за правое массивное ухо и несколько возвышаясь над засеренным птицами затылком. Он чувствовал еще острее, с тоскливою ущемленностью сердца, не только ничтожество свое и бесчеловечную несоразмерность с мертвым изваянием — чувство, внушенное всем нам с юных лет чтением поэмы А.С. Пушкина, — но, не выпуская еще из зубов куска обоев в желтый, синий и красный цветочек, чувствовал он нахождение существенно уменьшившейся в размерах фигуры своей под всецельной защитой любимой громадины.

Громадина же слегка подрагивала от сотрясения автомобилями поверхности земли, подрагивала слегка от подземного движения поездов метро и возносила моего знакомого над всем центром столичного города. В ней то взывало что-то, то глухо гудовало, то обширно и ровно шумело от проникавших в нее каким-то образом сквозь дырки в металле звучаний внешней городской жизни.

Молча, со сверкающими глазами и так и рвущимися из груди рыданиями — рыданиями духа, вознесшего мысль над животной толпою, — обозревал он удаляющийся вниз проспект. Погрозил свободной рукою «первосамиздатчику» Ивану Федорову и толпившимся под ним даже в праздничные дни книжным червям черного рынка, фамильярно поприветствовал не видного за углом гости-

ницы, но уже отшибающего от себя на мостовую нимбы вечерней подсветки Кырлы, как говорим мы, Мырлы, глянул на застывшую все в той же крайне недоуменной позе собаку и только тогда, абсолютно уверенный в том, что на него в этот вот самый миг направлены взгляды правительства, а также «хамски вытолкнувших его из себя научных кругов, близких к философии истмата», взял он в свободную руку кусок обоев, а уж развернул его подвешенный снизу в виде груза штаблет.

Из высвобожденного рта моего знакомого сами собой вырвались натуральные рыдания, сотрясавшие его грудь и заставившие собаку вопросительно что-то пролаять.

В этот момент все наконец устроилось так, что первый какой-то наблюдательный обыватель случайно заметил взгромоздившегося на Феликса Эдмундыча человека. Всего его в тот же миг высветил из мрачных сумерек свет всех прожекторов. И разом стало видно и лицо этого человека, которое было искажено то ли странным смехом, то ли возвышенным страданием, то ли безумным смешением на лице и того, и другого, как это бывает с лицами клоунов-эксцентриков, и стало также видно, что форма на человеке генеральская — сверкает всякое золотое шитье на мундире, ордена и медали... на брючинах, треснувших на коленках и ужасно потрепанных снизу, алеют, как положено, лампасы... фуражка, над которой взвихрились волосы, похожа, скорей,

на пляжный такой ободок с солнцезащитным козыречком, а не на генеральский высокомерный головной убор, но... «что бы все ж таки означала подобная по-зу-мен-та-ци-я?... что бы означала все ж таки сия пропаганда и агитация в афористическом виде?..»

Первому обывателю, бывшему, как и все почти пристроившиеся к нему другие обыватели, под приличной балдой, почудилось сперва, что фигура эта странная с транспарантом, стоящая босиком на плече всем приевшегося памятника, есть часть репетируемых сегодня олимпийских новаций, может быть даже — костюмированный намек иностранному гостю на то, что очеловечивание наших и без того гуманных органов находится нынче на небывалой высоте...

ТЫ ИНАКОМЫСЛИШЬ СЛЕДОВАТЕЛЬНО ТЫ
НЕ СУЩЕСТВУЕШЬ СУПЕРДЕКАРТ

ТЫ ИНАКОМЫСЛИШЬ СЛЕДОВАТЕЛЬНО ТЫ
НЕ СУЩЕСТВУЕШЬ СУПЕРДЕКАРТ

Кое-кому из обывателей, знакомых слегка с историей развития нашего европейского мышления, моментально открылся смысл философской ревизии знаменитого положения и зловещая практическая направленность этой ненормальной ревизии, доведенной каким-то генералом МВД или КГБ до логической, постоянно действующей угрозы в адрес обнаглевшего диссидентства. Стало

им также ясно, что предолимпийская постановка на ноги Декарта, как бы стоявшего до сих пор исключительно на голове по недосмотру правительственной философии, не к добру. Не к добру.

Кое-кто, слегка пришибленный словом **следовательно**, да к тому же в непосредственной близости от самого страшного в нашей Империи учреждения, должно быть, судя по светящимся окнам, так и кишевшего ко всему готовыми следователями, разумно отступил от соглядатайства и ушел подобру-поздорову подальше от возможной облавы.

Постепенно все окружные тротуары наполнила любопытствующая, гуляющая публика. Количество прибывавших на место происшествия людей намного превышало число людей, разумно его покинувших, — факт одновременно удручающий и обнадеживающий. Удручающий постольку, поскольку законы поведения уличной и прочих толп, выходит дело, остаются неизменными при любой общественной формации. От этого ежечасно опускаются руки даже у самых отъявленных прогрессистов. Обнадеживает же притекание публики на место нервически убывшей потому, что, выходит дело, публика не до конца еще утрачена полувековым — в случае с нашей публикой — террором и до сих пор, несмотря ни на что, то и дело намекает бдительным правительственным силам о наличии у нее грозных остатков инстинкта самостоятельных действий...

«Публика есть сумма обывателей, добровольно находящаяся в определенный час в определенном месте с осознанной либо неосознанной целью», — думал мой знакомый, обзревая скопление любопытных на всех приплощадных тротуарах. Ему приходилось перебираться с одного плеча Дзержинского на другое и поворачиваться в разные стороны с тем, чтобы всем присутствующим, не вынуждая их самих к суетливым перемещениям, открывалась эпохальная переиначка великого изречения, призванная философски обосновать необходимость физического и гражданского уничтожения инакомыслящих. Но дольше всего мой знакомый задерживался в том положении, когда стоял он лицом к светящимся в злодейском учреждении окнам.

Чиновники же, бдевшие в тот час в своих кабинетах, привлечены были наконец к окнам глухим шумом толпы, который они никак не могли перепутать с иными какими-нибудь шумами от многолетнего страха перед возможным в любой момент взрывом народной стихии.

То, что увидели вдруг следователи, каратели, шпионы и контрразведчики, давненько ожидавшие от народа — именно от народа, а не от публики — всего, что угодно, привело их в совершенное замешательство с дополнительной уstraшенностью перед нерепрессированным до сих пор призраком **непредвиденности**.

Бездонная, при всей ее внешней примитивности и доступности, мысль Декарта была намеренно перевернута моим знакомым с ног на голову — перекантовке такой он выучился у Маркса — Энгельса, — и обыватель вынужден был, повинуюсь некоему инстинкту ума и зрения, встать, как говорится, раком, глядя себе между ног, ворочая головой и вычитывая перекантованную эту мысль в позитивном виде:

Я МЫСЛЮ СЛЕДОВАТЕЛЬНО
Я СУЩЕСТВУЮ ДЕКАРТ

ТЫ НЕ СУЩЕСТВУЕШЬ СПЕРДЕКАРТ
ТЫ ИНАКОМЫСЛИШЬ СЛЕДОВАТЕЛЬНО

Начальство, тоже столпившееся у окон учреждения, было ошеломлено видом массового нагибательства и странным выворачиванием людских голов между ног, красных от прилива к ним — как это и должно быть в подобных случаях — потоков крови. Непонятное общее кривляние кем-то неистово облаивалось, и начальство, глянувшее первым делом вниз, перевело взгляд на памятник своему святому Феликсу Эдмундычу. Тут-то оно и увидело нашего безумца в родственной генеральской форме, существенно не изменившейся после смерти Хозяина, но, как мы знаем, висевшей ключьями на возмутительном демонстранте. Увидело начальство и «открытие» моего знакомого. Прочитало его. Пере-

читало. Не могло, надо сказать, моментально не оценить полезной правительству и его органам логики, которая, подумалось в те минуты начальству, не только вертится, стерва эдакая, в голове у него самого с семнадцатого года в бессловесной форме, но твердо руководила и руководит всеми его действиями в эпоху вынужденного лавирования в угоду тухлым либералам — партнерам по детанту...

Демонстрант был вне себя от счастья, что замечены кем следует он и его открытие, но тут, словно по команде, разом погас свет во всех окнах учреждения. Он перетрухнул. Псих психом, а стало ему как-то слишком ясно, что близится принятие мер, надвигается на него со стороны судьбы новая страшная и мрачная туча.

Вслед за окнами погасли и прожекторы вечерней подсветки. Вся площадь — действительно, как перед грозой, — погрузилась в темень, особенно густую в столичном городе, так и спирающем камнем зданий небольшие свободные пространства площадей и улиц: это погасли яркие площадные фонари. На всех дохнуло грозным хладом все-сильной, отработанной в совершенстве оперативности, которая, хоть она и устрашает обывателя до замедления дыхания, а порою и до судорожной приостановки мыслительной деятельности, но не гонит его по домам — укрыться побыстрее от нее к чертовой матери, — а, наоборот, приковывает магнетически к месту.

Происходит это от почти непреодолимой страсти к соглядатайству, более сильной, чем даже страх проверки документов, обыска и задержки для выяснения кое-каких обстоятельств. Мертвая тишина, предшествующая обычно, словно в театре, началу принятия оперативных мер, нарушалась, как пишут в таких случаях очеркисты газет, скулежным воем и жалобным взвизгиванием Алкаша, припугнутого всем происходящим.

И мой знакомый завсхлипывал вдруг от полного одиночества и ужаса перед городской тьмой, завсхлипывал, заплакал, как мальчишечка, затерявшийся вдруг в зарослях леса и оставшийся один на один перед скрытым во тьме ликом всеустрашающей ночи. Собака, нервно воспринявшая его сиротливое состояние, взвыла еще истошней и отчаянней, а он, растроганный там, наверху, хоть чьей-то сердечной близостью и участием, заплакал совсем уже навзрыд, заплакал плачем, успокаивающим на миг любое смятение безумного мозга и тоскливый страх растерянной души, и, заплакав, прижался всем телом, продрогишим уже от надземных сквозняков, к теплomu, не остывшему после стояния на майском солнышке железному истукану.

Иногда не может сердце не смутиться того, как бездарно, безвкусно, бездумно и беззаботно использует наше имперское правительство в своих пошлейших «мифологических» целях истинно невинное вещество природы.

Но бывает, однако ж, и так, что врежешь ты по грецкому ореху чугунным черепом какого-нибудь Ленина или бывшего Сталина, раскидаешь скорлупки и вытащишь со страстью звереныша мозгообразное ядрышко и сжуешь его зубами. Бывает — забьешь в стену одним из многих литых истуканов полезнейший гвоздь, а то и пригрозишь зарвавшегося буяну осадить его увесистым, скажем, плагиатором Шолоховым промеж, как говорится, рог. Бывает, одним словом, что употребишь ты по какому-либо нормальному делу отвратительно праздную вещицу и вдруг поражаешься — спяну ли, стрезву ли — изначально наивному благородству природного вещества и вообще чудесной невинности матушки-природы. Поражаешься и думаешь — прямым образом причисляя и себя, при сравнительной своей невиноватости, к сонму правительственных пакостников и тупых идолопоклонников, — какие мы все говнюки и, в сущности, совсем еще испорченные дети. Господи, молишься, прости и рассуди по высшей своей справедливости и вечной своей боли, которую мы столь академически именуем **нашим чувством истории**, что всем нам сразу правильными быть совершенно невозможно, хотя так хочется, Господи, наконец исправиться — пьем порою лишь от неудержимой тяги к исправлению. К сожалению, кончается это всегда лишь вынужденной поправкой после сдачи посуды... Что же де-

лать?.. Что же делать?.. Так вот и распространяется поголовное пьянство в пространстве одной шестой части света. И поневоле мрачно повторяешь, прозябая в очередях порочного круга жизни, слова мудрого одного существа женского пола насчет того, что *Тьма это и есть одна шестая часть света*. Впрочем, похмельный юморок не спасает, Господи, ото всего незабываемого...

Но что же дальше происходило с моим несчастным знакомым? Начальство сразу же, как я уже говорил, как-то там распорядилось, но первой прибыла на место происшествия «скорая помощь». Милиционеры и, частично, люди в помятых синих костюмах успели оттеснить обывателя с мостовой на тротуары, подальше от цветочной клумбы. Врач с ассистентом приблизились к ней и задрали головы вверх. Алкаш притих, потому что, как я теперь понимаю, растерянно анализировал незнакомый ему запах эфира. Медицинские сотрудники на выезде слегка пропитывают этой жидкостью свои халаты, чтобы эфир перешибал спиртягу, которым разит от них по праздникам невозможно.

— Сымайте его. Жахнется сейчас.

— Вот уж и в таких званиях нажираются.

— Домыслился, как видим. Досуществовался...

Много еще разных мнений и советов произнес тогда обыватель. Врачи вернулись к машине. Толпа, всегда испытывающая непри-

язнь к ним, поскольку в стране нашей с вызовами «скорой» не все еще обстоит благополучно, упрекающе забазлала. Старший врач счел возможным объясниться с толпою. Он сказал, что дело находится в компетенции пожарной команды и ветеринарного ведомства. Пояснил, хотя никто его об этом не спрашивал, что человек там, наверху, скорей всего находится в **поездке**, и повертел пальцем у виска.

Тем временем распоряжение начальства произвело свое возбуждающее действие. Дежурные сантехники и надзиратели учреждения прошли уже по туннельчику под клумбу и открыли люк, чтобы с близкого расстояния обозреть детали случившегося. Все они тоже были под необходимой праздничной балдой, потому что, кроме всего прочего и положенного в смысле выпивки, подналегали на припасенное, в порядке борьбы с повышением цен, спиртное.

Алкаш бешено обляял первого же сантехника, высунувшего окосевшую свою рожу из люка и раздвинувшего руками заросли красных сальвий. Тот замахнулся на собаку здоровенным тюремным ключищем, чем встревожил ее еще больше. Вылезти она ему на поверхность не давала и, срывая голос, угрожала откусить нос. Кто-то попробовал действовать решительней и начал вылезать из люка, размахивая перед оскаленной мордой Алкаша брезентовой курткой. Но пес увер-

нулся от нее и столкнул смельчака обеими передними лапами обратно в люк. Оттуда сразу вырвался на поверхность земли скандальный вой и нецензурная ругань сантехников, чему отвечал смех обывателя.

Вдруг толпу и памятник озарили вспышки ярчайшего света. В учреждении мгновенно зажглась пара окон. Знатокам стало ясно, что контрразведка не дремлет. Менты и люди в синих помятых костюмах, словно по команде, бросились на группку иностранных туристов, вспышками выхватывавших из тьмы фигуру рыцаря революции и разместившегося на ней генерала-манифестанта.

Туристы успели уж подумать, что все происходящее превосходит ихние собственные представления о свободе высказываний и уличных манифестаций, причем в таком... в таком месте, но менты со штатскими вмиг налетели на них и безо всяких объяснений начали отламывать от фотоаппаратов вспышки, а затем выдирать из них же катушки с пленками. Гидам было приказано немедленно увести «щелкающую вшивоту» в гостиницу и бросить до утра на койки, пока она не оказалась на нарах.

Чувствовалось, однако, что с остальными решительными действиями произошла заминка и что вызвана она, по мысли одного бывалого обывателя, консультациями мелких чинов с крупными, которые тоже не могут без санкции сверху дать разрешение на произве-

дение выстрела в собаку в таком месте и в такой день. Но тот факт, что органы как-то явно опростоволосились, весьма удовлетворял обывателя. Такое случается не часто. Кто-то поспорил с кем-то насчет того, каким образом органы выйдут из щекотливого положения. Шли разговоры о возможности применения бесшумного оружия или пулек, нашпигованных мгновенно действующим снотворным. Так, утверждал знаток, в Кении слонов усыпляют, а просыпаются они уже в зоопарке. Многие говорили, что они — будь они на месте начальства — давно бы уж вызвали вертолет, закрючили генерала вместе с плакатом и по воздуху переправили во внутренний двор учреждения.

Так или иначе, рассуждал обыватель, что-то все же должно произойти, потому что «до утра его там не оставят», а «облаивание пора прекратить... собаки и провинция совсем Москву объели...»

Мой знакомый, видимо, свыкся с темнотою. Чтобы не терять даром времени, он начал произносить вслух ревизованное им положение Декарта. Произносил сначала тихо и робко, как бы только настраивая голос и волю. Попутно дипломатично вносил в структуру фразы некоторые изменения с тем, чтобы стала она призывней, убедительней и проникновенней. Затем, после недолгой настройки, принялся громко и размеренно повторять:

Если вы инакомыслите следовательно вы не существуете если вы инакомыслите следовательно вы не существуете.

Наконец сантехникам, которыми явно уже руководили высшие дежурные и бывшие в учреждении чины из вечно бдящих, удалось отогнать Алкаша в сторону струей воды. Это моментально унизило умного пса. Причем унизило настолько, что он, поджав свой куцый отросток — поджать же его эрдельтерьеру весьма сложно, — жалко отступил в сторону. Затем пустили воду под максимальным напором вверх — на захлебнувшегося вмиг моего знакомого.

Вида и состояния человека, хамски и внезапно вымоченного в момент наивысшего подъема духа, описывать, я думаю, не стоит, потому что описания такого рода как бы превышают меры нашего соглядатайского отношения ко всему садистически-властному, творимому правительством и органами над любовью, даже вполне безумною, личностью. Тут чуем мы всей своей трижды выдубленной шкурою оскорбительную разницу наших — правительственных и обывательских — жизнеположений, чуем с такую болью и с таким отвратным страхом, что инстинктивно предпочитаем отворотиться же от невыносимых для нервишек, а может, и для совести нашей зрелищ.

Так уж все, к сожалению, сошлось в истории общества, что отвращаемся от всего тако-

го — а порою и от в тысячу раз более унижительного и оскорбительного — вот уж шестьдесят лет с лишком, производя на зажавшегося на свободе туриста жуткое впечатление вконец обездушенных скотов с атрофированным инстинктом сопротивления правительственному насилию и своему многолетнему рабству. Так уж все, к сожалению, сошлось, но как же нам быть, позвольте спросить у зажавшегося туриста, ежели правительство давно выкосило под корень бесстрашных и гордых, оставив — вынужденным, конечно, образом, то есть исключительно для приплода, — оставив в сравнительном покое всех нас — частично подкошенных, полностью уstraшенных и тех, кто уже родился в неволе да к тому же с детства привык жевать лживую листву правительственной прессы? Как нам быть, ответьте, пожалуйста, когда вы, наезжая к нам, словно в тропический зоопарк, и отметив про себя, что живем мы все же, питаемся, одеваемся, воспитываемся и даже желаем насладиться прелестью олимпийского движения, вновь улепетываете на свободу, где не то что пальцем не двинете ради нас, но и лепечете, прости вас Бог, насчет устремления тоталитарного режима к чистоте и порядку в противовес тяге свободного мира к полному бардаку и распаду? Как нам прикажете возродить без просвещенной помощи извне наше гражданское и человеческое достоинство? Может, объявить вдруг, телепатически объединив-

шись, всеимперскую забастовку, но, конечно, объявить ее, подзапасшись предварительно выпивкой и закуской? Может, наоборот, следует нам решиться наконец на всеобщую голодовку с выходом на работу? Тем более во многих наших городах и провинциях обывателю нетрудно будет перейти от хронической нехватки продуктов питания к стихийно организованной подсыхаловке. Как, скажите, спасти нам самих себя и потомство от очумевших и нисколько не подконтрольных народу наших генералов, когда вы своими руками помогли им довооружиться уже до того, что дальше, кажется, некуда? Как нам вроде вас от пуза попацифиствовать и похаркать на стратегические ракеты, приструнив этим самым военную проказу? Да за один только плевок, за одно лишь махание под носом у генералов протестующей тряпкой поедем мы вскоре на заготовки урана все для тех же супербомб...

Да пропадите вы пропадом там, на своей свободе, думает частенько обыватель, раз ничего действенного и решительно бесстрашного не делаете вы для вызволения нас — людей, полностью обезоруженных, — из недостойной рабской неволи. И почти ничего не делаете вы для прочищения наших мозгов, отравленных настолько газетным страхом перед вами, что миллионы обывателей представляют из себя стадо облапошенных недоумков, взгляды которых с великолепным ис-

кусством отведены от истинного и натурального врага Мира и направлены в окоселом, в резко враждебном виде на трепыхающегося из последних сил Рейгана. Мало того, вы — не все еще, слава Богу! — ставите подножки деятелям, пытающимся как-то сдержать нашу обезумевшую и догола почти раздевшую собственный народ военщину... Чем же тогда отличаетесь вы, беспрепятственно пользующиеся разными гражданскими свободами и имеющие ежеминутно доступ к разносторонней объективной информации, от нас, абсолютно лишенных возможности выразить свою волю и соображения свои здравые относительно политики нашего уверенного в своей полной безнаказанности правительства? Вы ничем, позвольте вам сказать, от нас не отличаетесь, но сказать только это было бы непростительно мало, потому что рубящий ветвь, на которой он благоденствует, неизмеримо омерзительней раба по принуждению, а вина самопатологизированного вашего сознания ни в какое не может идти сравнение с виною насильно изуродованного нашего... Ни в какое... Вот и погромсайте топориком усиженную свою ветвь, вот и повыгрызайте ее и поуточняйте со всех сторон, а мы — поскольку мы полвека назад провели уже эту деревообдочную операцию — можем, подобно загулявшим краснодеревщикам, пойти сдавать пустую посуду и похмельно чують дубовую безответственность — штуку, безусловно,

спасительную при нашей-то старинной обреченности...

Мой знакомый, окаченный водой, и не думал возвращаться добровольно вниз. Наоборот, он подстраховался от возможных падений, подтянув повыше нейлоновый трос и подкрутив себя к правому уху Феликса Эдмундыча. Сплошной, непрекращающийся напор воды не давал ему порою дышать, больно, кроме всего прочего, бил в промежность, в лицо, в грудь. От выеденного молю генеральского облачения слетали уже на клумбу ошметки брюк и кителя. Слетела к ногам брандспойтистов и планка с орденами и медалями, а также очень удивившая всех фуражка. Все это сразу проследовало в спецлаборатории злодейского учреждения. За собакой, к счастью для нее, не стали гоняться — она себе поскуливала побежденно в сторонке, — но шуганули мстительно пару разочков тяжелой струею...

...как сообщил он в первом же своем письме из психушки, ужасала его близость «захлеба водой в нескольких метрах над уровнем моря, что оскорбительно для каждого уважающего себя альпиниста»... «Но, писал он, именно в тот момент в моем истинно марксистском мозгу возникла грандиозная идея группового костюмированного восхождения на целый ряд мемориальных воздвигнутостей, ошибочно называемых памятниками... Поверь, сосед и товарищ, — мы взберемся...

никакие пожарные рукава, никакие водопады и наводнения не помешают нам взобраться на Крупскую и Чернышевского, на Маяковского и Пушкина, на Медного всадника и Гагарина, на Горького и Девушку с веслом. Мы никогда не отдадим на откуп наших мемориальных святынь проклятым Буковским... никогда... никогда... в тот момент я полностью слился с водой и металлом, то есть с телом крупного борца с инакомыслием в наших рядах... Партия не дала мне захлебнуться...»

Рассказ мой близится, несмотря на невольные отступления, к развязке.

Но вот что происходило во дворе нашего «номенклатурного» дома, расположенного на менее значительной, чем описанная одним умершим писателем, набережной. Вот что там происходило еще до того, как подсобные лица приступили к выполнению указаний начальства, остро желавшего узнать, что это за сволочь залезла Первого мая на плечи вечного шефа ихнего учреждения.

Дело в том, что у всех закладывавших у моего знакомого ценные документы, ордена и даже антисоветские издания, всегда, как известно, ценившиеся на вес золота, появились в умах небезосновательные всякие опасения. Пронесся ведь слух о том, что он вновь «поехал» и, возможно, уже к вечеру второго мая — первого на улицах должно быть как можно меньше спецмашин разных лечебных и карательных ведомств — будет вывезен в

дурдом, откуда, в лучшем случае, выпишут его только после окончания Олимпиады.

Кто именно заходил в квартиру моего знакомого, бывшую незапертой, теперь определить невозможно, поскольку с самого начала многоопытная рука направила следствие в замечательный тупик. Известно лишь, что какие-то люди, очень пьяные, но целеустремленные, не сумев дозвониться моему знакомому, явились к подъезду № 3 и стали расспрашивать сидевшего у подъезда старого большевика Влупинскиса, не заметил ли он такого-то жильца. Влупинскис, которого даже тупой Каганович считал неумным человеком, и сообщил неким лицам, что знакомый мой находится дома, а вот отец его — в прошлом начальник ихнего Воркутлага — выздоровел и вышел на прогулку со сторожевой собакой. Они еще пожали друг другу руки, порадовались тому, что находятся ныне по одну сторону баррикад, и генерал, подарив ему орден «Знак Почета», двинулся к центру города.

Люди эти, не будь дураками, самовольно проникли в квартиру, после чего она так и осталась открытой для всех желавших в нее войти. Побывал в ней и Гознак Иваныч, поскольку всполошившийся его сын признался в сделанном закладе. Втайне же от отца он заложил у моего знакомого секретный экземпляр антисталинского доклада Хрущева, вымеченный Гознаком Иванычем в либеральные

времена за 1 (один) кг черной икры у инструктора райкома партии Кобенко, и бесценную панагию, честно купленную у того же инструктора, руководившего в тридцатые атеистические годы реквизицией церковного имущества.

Одним словом, пользуясь тем, что лифтерша по праздничным дням гуляет себе, как все советские обыватели, в квартире моего знакомого побывало большое количество закладчиков. Следователи, прибывшие на место происшествия, нашли в ней все вверх дном перевернутым и раскиданным. Но тут я несколько забежал вперед. К следователям мы еще вернемся.

В квартиру заходила также тетька Нюся. Маршал приказал ей срочно «вернуть собаку в расположение наших войск». Ни собаки, ни моего знакомого в квартире, естественно, не оказалось. Маршал, хоть и был он на сильном взводе, так огорчился из-за исчезновения собаки, помогавшей ему и тете Нюсе выходить из запоев, что быстро облачился в парадную форму, вызвал личного шофера — таксиста-халтурщика из соседнего дома — и двинулся по маршруту моего знакомого. Маршрут этот прекрасно был всем нам известен: набережная, Волхонка, Манеж, площадь Свердлова, Лубянка и обратно.

Выглядевший как с иголочки «опель-адмирал» доехал постепенно до погруженной в темноту Лубянской площади. Маршал, сла-

вившийся всегда своей полководческой интуицией, почуял, что приехал вовремя. А почуяв, увидел полуголого моего знакомого, привязанного к голове человека, которого маршал терпеть не мог и называл не иначе как «польским мясником».

Вся клумба была уже вытоптана различными специалистами по ликвидации антиправительственных происшествий в публичных местах. Они устанавливали у подножия памятника грузовик с раздвижной лестницей.

Собака же залегла где-то на краю этой огромной клумбы, и о ней позабыли во всем этом переполохе. Но и она вела себя сообразительно, а может быть, настолько уныло, что ей уже было не до лая, бросаний на грудь алкоголиков, вопрошающего воя и так далее.

«Опель-адмирал» подъехал к самой клумбе. Маршал сразу начал звать собаку: «Алкаш!.. А-а-алка-аш!.. Алка-шик!..» Затравленный ужасами праздничной действительности пес тут же бросился на грудь хозяина, вмиг позабыв о недавней влюбленности в забавно неподвижного паралитика. От маршала разило, однако Алкаш не заваливал его наземь, согласно натаске, но лизал в нос, в распухшие от питья губы, визжал, облаивал обидчиков, осмелев и почуяв безнаказанность, и буквально ни разу не взглянул на моего знакомого. Собака, одним словом, вела себя приблизительно так, как ведет себя в подобных случаях неглупая и привязанная к мужу дама, чуть

было не застигнутая им на диване в объятиях домового водопроводчика, которого она же и вызвала, несмотря на полную исправность кранов с чистой водой и бачка в сортире...

Появление маршала не могло остаться незамеченным, но учрежденческие сошки не смели обратиться к нему с вопросами. Очень уж внушительно он выглядел. Все золото, серебро и бриллианты маршальской звезды, которую, к слову сказать, тетя Нюся успела вовремя выкупить у моего знакомого, блистали в лучах ручных фонарей, словно на каком-то нездешнем привидении. Мелкие сошки, и так уstraшенные случившимся, просто онемели от этого блеска и вообще от ужасной близости высочайшего чина.

Маршал, привыкший пользоваться производимым впечатлением, гаркнул:

— В чем дело?

— Выясняем, товарищ маршал, — сказал, очевидно, старшой или самый наглый и сообразительный из мелких сошек.

— Меры надо принимать. Выяснять потом будем. Света почему нет?

— Есть указание экстренно притемнять компрометирующие моменты, — доверительно сообщил маршалу старшой и наглый.

— Не притемнять надо, а ракеты пускать и уничтожать эти моменты! — рявкнул маршал. — Момент-ты!

— Указано не стрелять ввиду предстоящего следствия, товарищ маршал.

— Выполняйте, — устало сказал маршал, потому что от слова *следствие* его подташнивало с тридцать седьмого года.

В этот момент Алкаш успел-таки вырвать клоч из брючины старшого. Но тот лишь премило и крайне угодливо улыбнулся, как бы давая понять маршалу, что «он к этому привыкши... что возьмешь с шаловливого животного? Дерзим, так сказать, играючи-с...»

На что уж маршал был не тонким по части душевных дел солдафоном, но и его, считавшего восторженность чиновничества вещью органической и полезной, как-то необычно покоробила такая вот рабская угодливость, оскорбительная и унижительная для природного достоинства человека. «Все — говно, — подумал он зло и печально, — все — говно... надо было *тогда* повернуть вместе с Власовым или пойти позже на путч... давно снес бы эту Лубянку ко всем хуям собачьим... бассейн и рыть не надо было бы... тут эти бляди чекистские... мясники... вырыли вглубь пару бассейнов... сволочь... а на месте того бассейна храм, понимаешь, Христа Спасителя восстановим... все олимпийские материалы с ваших поганых деревень для восточногерманской проституции бросим на это дело... там меня и отпоят по-человечески...»

Думал так маршал, возвращаясь к «опель-адмиралу» и за ошейник удерживая обнаглевшего пса от бросания на мелкую сошку. Наблюдать за снятием с «польского мясника» на-

шего безумца он не стал, потому что затосковал от тревожной мыслишки насчет того, что вся эта катавасия должна будет иметь какие-то для него последствия... «Небось нащелкали фоток мерзавцы... падаль тыловая...»

Мой знакомый не оказал снимавшим его людям никакого сопротивления. Наоборот, давал им всякие советы по части обращения с тросом, замками и «спуска с вершины травмированного товарища». Он только судорожно вцепился в совершенно вымокший свиток. Чернильные письма на нем полностью размыло водой. К счастью своему, он был отрешен от происходящего и находился в плену безумных видений и размышлений — находился, как удачно выразился один из соглядатаев, «в поездке»...

Оставим его, потому что вскоре все было кончено. Толпа разошлась. На площади и в здании злодейского учреждения загорелся свет. Менты и типы в помятых костюмах, проклиная свою участь, принялись восстанавливать истоптанную-перетоптанную клумбу...

Маршал же благополучно доехал до дома. Он вышел из «опель-адмирала» с новой тоскливой мыслью о том, что скоро ему уходить в «небесный запас», а «лайба» эта, взятая им еще в Берлине, все так же будет фукать шестью своими цилиндрами неизвестно под чьей задницей...

Задумавшись, он позабыл о собаке, которая шныряла уже по газонам перед фасадом

дома и раздраженно задира́ла лапу у всех пограничных столбов своей собачьей империйки, захватнически орошенных какой-то прошлой тварью.

Вдруг Алкаш дико и утробно взвыл. Вой вырвался из него безо всякого предварительного настроения, как это бывает со зловредно и частенько воющими псами, генетически близкими к волчьим кругам. Вырвался с таким ужасом черт знает перед чем и почему, что маршал задрожал с головы до ног и в первый миг перетрухнул — не с ним ли уже произошло что-то такое давненько ожидаемое? Такое с ним не раз бывало на войне — ни жив ни мертв — во время внезапных бомбежек, и дело тут, замечу, вовсе не в отсутствии храбрости, а в общей, невысказанной оглушенности... Так вот, вой Алкаша оглушал во всех, кому довелось тогда его услышать, чувство жизни. Обыватель моментально высунулся из окон и высыпал на балконы. Многие же из гулявших в тот час с праздничным и откровенно пьяным видом по улице, и маршал в их числе, проследовали на газон, поближе к воющей собаке, поглядеть: чего это она вдруг взвыла, как сирена?

Тут все и увидели, что собака стоит над чьим-то неподвижным телом, одетым в нательное белье давно устаревшего типа. Кое-кто заметил это тело еще раньше, но по благодушной привычке, свойственной подзабалдевшему обывателю, подумал, что ничего тут

нет такого уж особенного — нажрался человек вусмерть и выскочил одурело прямо из кровати на чистый воздух... с кем не бывает?.. одна живем...

Подошли поближе. Перед маршалом все расступились. Ноги, руки, часть заголившейся спины и затылок лежавшего тела были такими безжизненно белыми, какими бывают проросшие в полной темнотище стебельки картофелин. И всем стало ясно — в трезвость всех от этого бросило, — что тело мертво.

А когда его перевернули с живота на спину и распрямили слегка, маршал сказал:

— Эмвэдэшный генерал. Вызвать милицию. Живо! Он снял фуражку и вновь вынужден был оттащить Алкаша за ошейник в сторону. Удивившись людской тупости, но не вступая в спор с теми, кто допился уж до того, что счел возможным самовольное выпадение многолетнего паралитика из окна, он покандехал по-стариковски домой.

Вскоре приехала милиция. Затем «скорая». Покойника, на белье которого, к удивлению всех присутствовавших, не было ни кровиночки, увезли в морг.

Из-за всего из-за этого бóльшая часть запасенного спиртного немедленно же была выпита теми, кто уже не мог успокоиться и до самой ночи строил в квартирах и во дворе разные невысказанные версии случившегося. Все, однако, было покрыто таинственным,

весьма подозрительным мраком. Побывавшие в квартире покойного генерала то ли с тем, чтобы срочно забрать заложенные свои партбилеты, ордена и антисоветские сочинения, то ли для прямого безнаказанного грабежа, разумеется, предпочитали помалкивать или намеренно отводить предположительные разговоры в фантастические дали.

Высказывалась, в частности, романтическая мысль насчет свершившейся наконец-то мести тому, кто был, по рассказам освободившихся из Воркутлага большевиков-ленинцев, сущим зверем и лично, бывало, пристреливал у вахты отказников от работы.

Выживший же из ума старый большевик Влупинскис продолжал уверять и следовательно и соседей по дому, что генерал двинулся на прогулку с собакой, а из окна выброшен его сын, если он, конечно, не изволил выброситься сам. Влупинскис был также озабочен «безусловно антисоветской, преодолímpийской провокацией тех, кто не дремлет и заинтересован в дальнейшем нагнетании...».

После обследования газона и квартиры потерпевшего следователи были приглашены — это не укрылось от внимания толпившихся до дворе обывателей — в квартиру замгенпрокурора СССР по высшей мере. Туда же проследовал через каких-то пять минут Гознак Иваныч.

Тут уж нетрудно было возникнуть нашему предположению о корыстных интересах Гоз-

нака Иваныча, а быть может, и о его причастности к преступлению, потому что в памяти нашей живо было происшествие с обгаживанием загривка Гознака Иваныча собачьим калом. Ясно было, что не тот он человек, чтобы оставить без движения такое неслыханное хулиганство, имея связи в самых высоких правительственных учреждениях.

Свидетелей преступления не было, кроме тех, как говорится, кто его непосредственно совершил, а стремление Гознака Иваныча получить освободившуюся квартиру для своих близких родственников могло ли само по себе являться серьезной уликой? Не могло. Но больно уж складно все сходилось. А все так складно сходящееся — всегда есть часть неизвестного нам, трагического либо комического сюжета жизни. Мне лично он до сих пор представляется в таком приблизительно виде.

Гознак Иваныч, безусловно, очумел от всего вместе взятого — от выпивки, непереносимой обиды, приструненной жажды возмездия, запашка собачьего дерьма, который в возмущении его не перешибался даже душной вонью одеколona «Портос», и, конечно, навязчивых мыслишек о заветной квартире.

Я сам видел, как он похаживал по газону под окнами моего знакомого, слишком уж вдохновенно поглядывая вверх, а затем медленно опуская бычину голову вниз — как бы в мысленном прослеживании чьего-то желанного падения к своим ногам. Проследив за

падением — чего именно, мне стало ясно позднее, если я опять-таки не ошибаюсь, — он долго смотрел себе под ноги изумленно-ошарашенным взглядом. Это бывает как с умными людьми, так и с полными тупицами, которым разыгравшееся воображение подкидывает картинку случившегося до того еще, как ему суждено было случиться в действительности...

Так вот, Гознак Иваныч очнулся наконец от всего предвосходящего, отмахнулся от него, вздрогнув всем своим огромным крупом, вздохнул и слегка развел руками. Видимо, он — мысленно же — давал понять будущей жертве и правительству, что, к сожалению, никто теперь не сможет приостановить неумолимого хода событий, более того — он даже не подумает его останавливать, поскольку временно является исполняющим обязанности самого **рока**.

Если бы и я тогда мог хоть как-нибудь проникнуться этими вот «служебными» планами, ничего, возможно, не произошло бы, а генерал МВД помер бы, как говорится, своей смертью, хотя не помирал он так долго после удара как раз потому, что *своей смерти* у него, возможно, как бы вовсе и не было по причине ее случайной отлучки в неведомые нам измерения. **Его смерти** могло также показаться, что дело она свое проделала при ударе человека по мозгам весьма исправно, без брака, — так что вполне можно удалиться без

дополнительной проверки проделанного и необходимых, в случае чего, добавочных ударов. Но... если б да кабы...

Я тогда занят был своими делами, а может, спяну бессознательно смирился со всем неминуемым, которое бессознательно же воспринял, туповато наблюдая за гримасами Гознака Иваныча.

Ничего также не случилось бы, если бы придурковатый Влупинскис Август Ноябрьч — так он себя величал — не убедил общественность в том, что из дому вышел сам генерал-лейтенант МВД с собакой, в полной форме и при орденах. Это — еще одно лишнее доказательство, что всегда и во всем бывает как-нибудь виновата старобольшевицкая сволочь...

Как же было Гознаку Иванычу не отдаться слепо жажде мести, совмещенной с тонкой квартирной грезой? Он и отдался. Времени для этого требовалось мало, а квартиру не надо было взламывать... Вошел... Огляделся... Взглянул с ненавистью на лицо дремавшего генерала — мой знакомый, кстати, как две капли воды похож был на родителя, — счел его мертвецки окосевшим, что с ним раньше часто случалось, затем отыскал или не отыскал заложенные сыном хрущевские тексты и бесценную панагию, поднял бездыханное почти тело и вышвырнул его на газон, наверняка думая про себя: «Получай, падла, подлинно свободное падение тел в условиях развитого

социализма... в гробу бы я видел и тебя и его, сука... мне Брежнев с Галиной никогда на голову не срали...» Разумеется, так отрывочно он мыслил, уже сбегая вниз по лестнице, а может быть, вызвав лифт...

Нельзя было не подумать обо всем таком обороте дела, глядя на следователей, которых замгенпрокурора СССР по высшей мере провожал вместе с Гознаком Иванычем до спецмашины. Они кивали головами с полным знанием того, что им следует делать по ходу расследования, покачивались и были нагружены явно продуктовыми свертками.

Впоследствии так и оказалось. Следователи пришли к выводу, что генерала выбросил из окна мой знакомый. Его даже привозили в наш дом — к сожалению, я был в это время на службе — для проведения убедительного следственного эксперимента, который и должен был, по замыслу заинтересованных лиц, убедить общественность дома и органы в правильности официальной версии. Кроме того, эксперимент, после его проведения, доказательно и изящно, по мнению замгенпрокурора СССР, устанавливал зловещую связь между кровавым отцеубийством, провокационной манифестацией и первомайским глумлением над святынями наших органов.

Моего знакомого — он улыбнулся и пытался поздороваться с Влупинским — ввели в подъезд, подняли на лифте к опечатанной квартире и приблизили, подвязав предва-

рительно к батарее отопления, к раскрытому окну.

Кстати, никому из понятых — а ими были замупра жэка Стабов, бывший начполитупра ВВС генерал-майор в отставке Епишевский и директор Сандунов Банько — даже не пришло в голову, что в следственном эксперименте участвует человек, абсолютно неменяемый и несчастный да к тому же потерявший последнего, хоть и неподвижного, но все же живого отца, к которому он был своеобразно привязан. Наоборот, эти люди, не имевшие, подобно австралопитекам, никаких представлений даже о советском праве, деловито обменивались репликами насчет того, что у нас тут не США и номерок с неменяемостью, адвокатской возней и равнодушием общественности к судьбе пострадавших чинов не пройдет...

В общем, моего знакомого привязали к батарее и попросили припомнить порядок его действий в тот вечер, ход мыслей и приблизительное время выброса парализованного тела на улицу. Внешне он был, по рассказам очевидцев, вполне нормален. Он улыбался, но отвечал на вопросы с некоторой раздражительностью и корректным высокомерием — то есть производил впечатление законченного садиста и циника, вынужденного делиться опытом со слюнявыми дилетантишками.

Следователи-то прекрасно знали, что за спектакль они устроили и для чего он понадо-

бился кое-кому. А вот понятых не смутило, что на вопрос «В каком часу все это произошло?» мой знакомый ответил: «Время шло, как всегда, от причины к следствию». Относительно же хода мыслей он сказал гораздо проще: «Мыслил и существовал, как всегда. Следовательно, борясь с инакомыслием в одной отдельно взятой сверхдержаве».

До сих пор не могу понять, что происходило в его «поехавшем» мозгу, когда речь зашла «о порядке действий в тот вечер», и как может даже маньяк в точности соответствовать явным внушениям следователей.

Ему дали в руки, то есть вручили — как бы самому не «поехать», рассказывая обо всем об этом, — здоровенную, черт знает чем набитую куклу, вес которой — грамм в грамм — равен был весу трупа, и сказали: «Держите папу. Действуйте».

В протоколе было затем записано следующее:

С особым цинизмом заглянув в то место макета, где, по его представлениям, должна была находиться голова с лицом пострадавшего, Н-в зловеще улыбнулся и, не испытывая никаких внутренних сомнений, но намекая на непомерную тяжесть макета, подошел с ним к подоконнику. Эту часть следственного эксперимента пришлось произвести повторно, поскольку понятой Банько издал громкий, непредсказуемый возглас ужасного пережива-

ния. Н-в вновь охотно улыбнулся и с особо вызывающим цинизмом попросил понятых помочь ему совершить выброс. После гневной отповеди генерала Епишевского Н-в, симулируя растерянность, совершил его сам, после чего пытался скрыться из квартиры, но был задержан предупредительной привязью с дальнейшим вывихом правой ступни... На вопрос: «Выбрасывали ли вы из окна тело генерал-лейтенанта МВД Н-ва?» — последственный ответил положительно: «В СССР давно существует свободное падение тел, независимо от их веса, химического состава, национальности, вероисповедания и занимаемой должности». Присутствующими были сорваны все его попытки вести антисоветские разглагольствования относительно инкомыслия в нашей стране...

Когда моего знакомого выводили из подъезда, кое-кто успел продемонстрировать свою ненависть к отцеубийце и антисоветчику, позировавшему туристам из США во время вражеской вылазки на Ф.Э. Дзержинского. Больше всех неистовствовал председатель антисионистского комитета генерал Драгунский. Он орал с балкона:

— Антисемитов и сионистов — вон из Москвы в преддверии Олимпиады!

Так кончился следственный эксперимент...

Разумеется, задолго до него все случившееся уже было темой домовых, уличных и об-

щемосковских слухов, а также разговорчиков в самой грандиозной из всех выстоянных лично мною очередиц у ПУПОПРИПУПО от населения.

После недельного почти запоя, вызванного праздниками и страстью побыстрее уничтожить нелепые запасы спиртного, посуды, как вы понимаете, скопилось у всех предостаточно. Кроме того, в нашем ПУПОПРИПУПО в такие вот послепраздничные, тоскливо-похмельные времена старались сдать сотни, а порой и тысячи различных бутылок «стеклярики» из Лужников. После первого в сезоне футбола и всех обстоятельств, с которых начат был этот рассказ, посуды на стадионе оказалось рекордное количество. Мафия «стекляриков» — разговор о ней отнял бы много времени — понаехала в своих машинах к нашему пункту. Стоять в этой очередице пришлось до и после обеда. Тогда-то и узнал я, что при обыске в квартире моего знакомого были обнаружены чьи-то паспорта и партбилеты. Все мы искренне сочувствовали людям, не успевшим вовремя выкупить опасных документов или забрать их, как это сделали некоторые шустрые везунчики в тот самый удобный трагический момент. «Паспортов у нас сколько хошь получай, а с партбилетом дело обстоит похуже...» — сказал кто-то...

Разговоры о приключении моего знакомого на Лубянке велись сдержанно и позитивно,

поскольку при всей нашей застарелой ненависти к злодейскому учреждению откровенные высказывания в его адрес и пылкое злорадство — пищи для него тогда хватало — могли привести к преждевременным задержаниям, потере очереди, а то и самой посуды.

Известно, что нигде не кишит сексотами так, как в послепраздничных очередях, когда многие с похмелью просто не выдерживают спертости молчаливого существования и начинают распоясываться с безумным бесстрашием. Вот тут-то сексоты, профессионально влившись в наши ряды, собирают объективнейшую информашку о настроениях обывателя. Но бывает и так, что, собрав, дергают кого-нибудь из бурно настроенных в отделение. Делается это для того, чтобы трепачи письменно подтвердили все сказанное в очереди, потому что были случаи, когда сексоты отваживались на очковтирательство — кто, собственно, в нашей Империи на него не отваживается? — занимаясь в рабочее время черт знает чем и личными делами, а затем, уже на досуге, лепя от фонаря разумную антисоветчину и антиамериканщину. Сложности в таком очковтирательстве и опасности ошибиться почти не бывает, потому что правительству лучше, чем стукачам и сексотам, известно, что все антисоветское в устах обывателя — есть чистейшая правда, а все антиамериканское — внушенная и вбитая в головы правительственной прессой ложь...

Рассказываю я о сексотах потому лишь, что трагикомическая история моего знакомого — не единственная с самого начала тема этого повествования. С настроений народных мы его начали, на них мы его и закончим.

Я уж давно замечал, что обыватель — стоит ему только стать в государственной или имперской какой-нибудь ситуации умней, хитрей, душевней и благородней правительства — автоматически, вернее говоря, чудесным образом превращается вдруг из забитого, неряшливо обросшего ложью, тупого перемалывателя газетной жвачки и мелко юродствующего советского человечка, определенно и вновь превращается обыватель в народный личностный организм, давая понять этим самым себе, а заодно и правительству, причем без какого-либо позирования, что человеческое достоинство и трезвое чувство того, что к чему, — есть, в сущности, не уничтожимые никакою властью таланты.

Приметить эти знаки вынужденного укрытия в себе понимания происходящего и происшедшего, равно как и чувств, связанных с пониманием того или иного события современной истории, можно было и во времена Венгерского восстания, и при наивной попытке чехов произвести пластическую операцию на жутком черепе своего социализма, с тем чтобы придать ему черты человеческого лица, и при зверской травле миротворцев с писателями, и при увязании бездарных наших внут-

ренных политиков во внешних джунглях Африки, и при чисто фашистской оккупации земли афганцев, и при лицедейской пацифической истерии, и, конечно, после постыдного уничтожения корейского самолета.

Как мы примечаем такие достойные мысли и чувства и как сами их при случае выражаем — тема особого, психологического разговора. Правительство, члены которого все же как-никак остаются людьми и, возможно, не чураются временами искренних и достойных самопризнаний — о межинтимных или близких к публичным признаниях не может быть и речи, — правительство прекрасно осведомлено о наших настроениях. С чего бы еще размножать ему тогда внутри Империи фантастическое количество ментов и сексотов, если обыватель настроен так, как живописует поганая наша пресса? Больше не с чего, скажу я вам. Больше не с чего...

Одним словом, обжегшись и попавшись на удочку слуха о *повышении*, большинство из нас, не сговариваясь друг с другом — вот что поразительно, — начали, косвенным образом и не ставя самих себя под прямой удар сексотов, как бы распускать тревожные слухи, но на самом-то деле стали доводить до сведения правительства, что никаких с нами финансовых игр после хамского такого разорения нас и подстроенного, можно сказать, введения в многодневный запой больше мы просто так не потерпим.

Вот, скажем, я топчусь в очереди и эдак ленивенько сообщаю, что кому-то кто-то где-то давеча говорил, что если повысят до Олимпиады цены на водяру, а продавать ее станут только после обеда, когда добрым людям следует уже всюю пить, а не опохмеляться, то на трибунах всех стадионов кое-кто... пьют-то все... ни за что не будут болеть за **наших**... Кое-кто на все способен...

Не знаю уж, какова там у них в правительстве механика принятия важных решений, но не были ведь повышены цены перед Олимпийскими играми. Значит, дошел до правительства многократно повторенный среди обывателя слух?..

В предолимпийские, полные истерической суеты дни я и мои знакомые своими ушами слышали также совсем уж абсурдный бред насчет того, что в Черемушках изловили группу молодых парней, которые обзавелись на заводе холодным оружием и собирались в разгар Олимпиады выкрасть пару толстых восточно-германцев, метателей ядер и дисков — выкрасть и натуральным образом их съесть. Превратить в шашлыки — и съесть. Но если правительство перестанет, во-первых, отправлять молодых москвичей в Афганистан, не дав им посмотреть Олимпийские игры, и если оно существенно улучшит снабжение Черемушек мясом, маслом, сыром и колбасой, то никто протестовать не станет до какого-нибудь иного... иного раза... Результат — налицо. Моск-

ву завалили — во всяком случае, перед самой Олимпиадой — первоклассными продуктами, а крайне непопулярная в народе мобилизация на постыдную бойню перенесена была в основном в провинцию...

Вот, собственно, почти все, что хотелось мне рассказать.

Отец моего знакомого был похоронен со всеми воинскими почестями на Новодевичьем кладбище, неподалеку от могилы Н.С. Хрущева.

В «Правде» поместили передовицу «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ — СВЯТЫНЯ», а в «Московской правде» фельетон — «ТОРГОВЦЫ ПАСПОРТАМИ». Несомненно, это было мощное, своевременное эхо результатов обыска в квартире моего знакомого. Как бы, интересно, называлась передовица «Красной звезды», если бы, не дай Бог, тетя Нюся не успела выкупить заложенного в гиблую минуту ордена Победы?..

Кстати, нашему маршалу не удалось уклониться от объяснений с органами насчет собаки, покусавшей кого-то там при исполнении служебных обязанностей, а также своего появления на площади Дзержинского, что вызвало нежелательную заминку при снятии провокатора с памятника.

Однако на вызов он отказался явиться и пригласил представителей органов к себе домой. Никому из сидевших во дворе так и не удалось заметить ни приехавших, ни зашед-

ших в подъезд чекистов, словно они использовали для визитов к маршалу какие-то сверхконспиративные подземные или воздушные пути. Но то, что визитов было два, если не больше, было нам точно известно со слов тети Нюси. Во время этих визитов ей приходилось силком выволакивать Алкаша из дома, потому что благодаря феноменальному нюху и нервному потрясению он уже до конца своих дней на дух не мог выносить чекистов, в которых до мозга костей въелся запах злодейского учреждения. Маршал, побывавший некогда в застенках, тоже был внимательным человеком, но собака, в отличие от него, побывав даже не в самой тюрьме, а всего лишь над тюрьмой, в красных сальвиях у палаческого подножия, вела себя по отношению к лубянскому запаху буйно и непримиримо. Этим же объясняются частые ее, вроде бы беспричинные наскоки на некоторых жильцов нашего дома.

С психикой ее все же что-то произошло. Во время прогулок Алкаш ложился на то место, где найден был выброшенный кем-то генерал, и никакою силой невозможно было заставить его сойти с места, пока он сам, горестно поскулив и покопав землю газона лапами — не попытка ли эксгумировать полюбившееся ему существо? — не плелся за тетей Нюсей или за маршалом. Непонятно почему, но вскоре он перестал реагировать на пьющих, а постепенно и сам втянулся в выпивку. Вполне

возможно, он проникся любовью к маршалу, вызволившему его из чекистских лап в тот безумный даже для собачьей психики вечер. Проникнувшись же, решил пренебречь внушенными ему законами ненависти к спиртному из свойственного всем собакам — так же, как, слава Богу, имеющимся еще на белом свете людям, — чувства душевной благодарности спасителю. Тетя Нюся рассказывала близким ей во дворе людям, что больше всего Алкаш любит лакать подогретое пиво, в которое маршал собственноручно крошит говяжий фарш. Обожает также любую бормотуху. Пить же он начал по собственному желанию, но неизвестно, по какой именно причине. Может быть, по причине высокого уподобления трагически выпивающим людям. Сначала маршал старался не потакать выявившейся вдруг собачьей страстишке, но пес поднимал такой вой и бесновался до тех пор, пока ему не наливали в миску пивка или «хирсы». Увод его из квартиры ни к чему не приводил — он бесновался еще больше и становился просто опасен.

Родственники маршала пробовали подлечить Алкаша у видного ученого — главного ветеринара Министерства обороны СССР, но тот, говорят, только развел руками и сказал, что военная наркология бессильна справиться с запоем солдат, офицеров и генералов, которых никак нельзя усыпить в служебном порядке, а вот собаку-алкаша он может бесплат-

но усыпить в любую минуту. Маршал вроде бы ответил главному ветеринару, что тот как был коновалом, так и останется им навеки, но он, маршал, — хоть он и повинен в напрасной гибели десятков тысяч людей — скорее сам подохнет, чем даст всадить предательский шприц в тело друга и собутыльника.

Разговоры об Алкаше тетя Нюся обычно кончала одною и той же горестно-задумчивой фразой: «Жизнь кого хочешь ломает, солдатики, — даже самостоятельную собаку...»

Нехорошо и некрасиво, когда спивается человек или животное, но, глядя на то, как внезапно постаревший Алкаш с аффективной твердостью переставляет четыре свои лапы и старается, подобно маршалу, ничем не выдать пьяненького состояния, нельзя было не преисполниться мыслью о благородстве такого вот презрения к служебной натасканности и такой вот готовности принести в жертву другу здоровье и честь собачьей породы...

* * *

Свидания с моим знакомым, на которое подталкивала меня не любовь к нему, а сердобольность нормального человека, конечно, не разрешили, хотя я вел переговоры об этом — частным, соседским образом — с самим замгенпрокурора СССР по высшей мере Скончаевым. Однако через странного санитаря до меня дошли из дурдома пара писем несчастного безумца. Я их цитировал ранее. В них

он довольно связно излагал свои идеи и логику поведения.

Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Гознак Иваныч вскоре получил освободившуюся квартиру. Секретарша ЖЭКа проболталась однажды в очереди, что им приказали **сверху** вычеркнуть фамилию моего знакомого из домового книги, а в соответствующей графе указать: **выбыл**. Куда, как и насколько **выбыл**, если **выбыл** не навек, — неизвестно, но объявившемуся вдруг советскому новому поэту и бывшему председателю КГБ не случайно же, конечно, явились на ум служебно-лирические строки, вынесенные мною в эпиграф:

Живут и исчезают человеки

Безусловно, ему лучше, чем нам, было знать, если не как **живут**, то как **исчезают** не только безумные, но и вполне нормальные люди.

Вермонт, 1985

ПРИЗНАНИЯ
НЕСЧАСТНОГО
СЕКСОТА

Дело было, надо полагать, зимой. Говорю «надо полагать», ибо в тот, нынче вспоминаемый день похмельное мое сознание пребывало в настолько мерцательном и тусклом виде, что ему было не до обмозговывания ряда каких-то очевидных обстоятельств.

Не все ли равно сознанию, если оно вообще готово отмерцать при небывалом сужении сосудов, что за время года на дворе, какое вокруг располагается жестокохарактерное государство и в каком, собственно, теле оно еще мерцает — в теле муравьеда, изнемогающего от шевеления во рту живой, спиртосмердящей массы, гиенокошки с вылезшими из орбиты гнойными глазками или давно знакомого сознанию полуодетого кентавра...

Поверьте, господа, в результате многолетних злоупотреблений, в момент критического сужения сосудов как головного, так и спинного мозгов, не говоря уже о сосудах замирающего сердца, стал я привидеться самому себе в ужасающих обличьях... К чести своей — лишь в ужасающих.

Никогда не привиделся я себе ни в обличьях наделенной властью свиньи, ни известного артиста в ратиновом пальто, ни директора Центрального рынка, ни теоретика физики, ни даже продавца винно-водочного отдела гастронома № 1. Никогда... Привычнее всего, повторяю, было мне ощущать свой надтреснутый организм в форме кентавра...

Ежели накануне, то есть дней за семь до вынужденного стояния в очереди у ПУПО-ПРИПУПО, жрал я нечто аристократическое типа водки с коньяками, то полуодет бывал снизу. Верх же весь приходился на голую лошадинообразную внешность с прядяющими от каждого мелкого звука ушами, отвисающей губой, желтыми зубами и с глазами в темных очках. В них мир не казался ярко торжествующим над моим поразительным ничтожеством. А очередища и не к таким видам привыкла.

Но если приходилось мне выжирать соответственно какую-нибудь очередную дрянь, сочиненную советской ебаной властью, то полуодетым я оказывался сверху. На низ же я робел глянуть хоть ненароком, ибо кто вынесет такое захребетное зрелище без риска повредить остатки непоправленного еще здоровья? Кто, не содрогнувшись до самого основания, способен обозреть открывшиеся ему сногшибательные подробности в виде всего конского вплоть до срамотствующей промеж буланых ног пегой тряхомудии, хвоста, засоренного ре-

пьями быта, и необутой парнокопытности? Да никто не сможет...

И я не мог, но вынужден был тратить остатки разумной воли на изгнание из пылающего воображения нежелательных деталей своей опустившейся внешности...

Так вот, я погибал в то утро, господа, двигаясь вместе с соседями по очереди к желанному проему ПУПОПРИПУПО. И всенепременно погиб бы, ежели бы не привык к погибанию подобного рода.

Уже готовилась верхняя моя полуодетая половина всхрапнуть от недостатка воздуха и слюны, а нижняя откинуть копыта, уже смирился я с тихим, с медленным, как в помещении кино, гаснущим в сознании светом дня, но был неожиданно возрожден к бытию случайным спасителем...

Кто-то тыркнул меня ощутительно в бок так, что дрожью передернуло мою кожу, и грубо сказал: «Приложись, современник».

Я приложился. О Боже, это было нечто коньячное... Жизнь буквально влилась в меня в тот же миг. Я смог выпрямиться, почуять, что у меня есть человеческие руки, а в них по авоське с посудой.

Спаситель мой помог мне не только водрузить ряды бутылок на прилавочек перед проемом, но и вытащить из них несколько пробок, без чего и лишился бы я необходимого полтинника. У меня не хватило бы ни сил, ни терпения, ни умения сконцентрировать бряцающие

по бутылке пальцы на вылавливании сволочной пробки в зловредной бездне зеленого стекла.

Затем я подождал в сторонке спасителя. Меня била дрожь возвращения жизни и безбрежной благодарности.

Он, выйдя, предупредил мои, готовые сорваться с губ слова...

— Со всеми бывает, — сказал он. — Пошли, дернем как следует.

Я предложил угостить его. Он решительно отказался, и мы благородно скинулись. Взяли жареной кильки, сырок «Нева» и немного хлеба — закуси, имевшей отношение к морской, речной и земной стихиям. Так выразился спаситель и пояснил с воодушевлением человека, предвкушающего близость чудесного, долгожданнейшего момента, что в нас с похмельюги не хватает минеральных элементов и, разумеется, элементарных минералов.

— Китайцы и японцы, — сказал он, — никогда не косеют, так как хавают продукты морского океана, а русский народ — вечно косеющая мудила, потому что не берет по тупости сахалинской капусты, но тычется пяточками в квашеную, от которой лишь пердеж пробирает да сводит зубы... Это мне свояк докладывал. Он шпионил в Токио. Ежедневно надирался водкой тамошней «Банзай» и закусывал только морской капустой. Ни в одном глазу и к тому же сухостой тонуса члена. Минерал с ходу в него вдаряет... Возьмем, пожалуй, грамм двести.

Поправились мы во вновь открытой общественной уборной. Там было тепло, как дома, светло и мухи не кусали. Мария Ивановна — смотрительница этого заведения — получила с нас полтинник авансу, поощрительное обещание отдать ей пустую посуду, но велела слить через полчаса.

Оба мы взобрались на унитазаы и возвысились над разделяющими людей постоянными перегородками. Стаканы, одолженные Марьей Ивановной, две бутылки «хирсы» и закусь мы разложили на крышках бачков.

Не знаю, уж как удалось мне забраться на унитаз. Ноги дрожали. В глазах была тьма со слабым просветом. Желудок рвался неведомо куда, и вверх, и вниз. Печень, словно чугунная чушка, тянула тело вбок и к тому же перекатывалась в остатках брюшной жидкости...

Если бы не влекущий к себе вид стоявших уже на унитазае бутылок, не уверен, что справился бы я сначала с одной ногой, потом с другой и вообще удержал равновесие. От рук же моих толку было мало. Это были скорее подбитые крылья, а не руки. И пальцы дрожали так, что подсунул бы кто-нибудь под них в тот миг солидный рояль — и выбили бы они из струн виртуозную, душещипательную пьесу. Из-за перегородок спаситель никак не мог мне помочь.

Но подъем наконец остался позади. Насколько величественнее все же, неизмеримо труднее, опаснее и неблагодарней, подумалось

мне тогда, некоторые действия, совершаемые человеком внизу, в ногах, так сказать, у самой жизни, а не в тщеславном воздухе восхождения на равнодушную вершину, где победитель-мудозвон устанавливает флаг государства, топчущего достоинство личности злодейскими правилами сдачи пустой посуды.

Но... полстакашка портвешка, шматочек странной морской капусты с килечкой, поднесение к нюху кусочка хлебushка, пара богатырских кряканий надтреснутой в борениях с Рокком души — и разобрались в момент пальчики, кто из них есть кто. Сердчишко, печеночка, железочки всякие, кишочки, почечки, пузырьки и различные тракты прекратили бессмысленные препирательства с организмом, омылись мутные очи первой выделенной слезою, утвердился в прежнем желании потрепаться совсем было онемевший язык — я поправился наконец...

Еще мгновение тому назад я сам себя ненавидел, презирал и тоскливо жалел. В такие мгновения с особенной остротой замечаешь злобное расположение к своей ничтожной персоне, исторической, социальной и даже биологической действительности якобы лучшего из миров. Я как человек разумный огрызнулся на такое к себе отношение с максимальным остервенением. Но вот я внезапно и с Божьей помощью поправился. Я, следовательно, враз и себя зауважал и на окружающую действительность распространил свое благодушие.

Мог ли я поступить иначе? Нет, господа, и еще раз — нет! Иначе я был бы типичной неблагодарной свиньей, ибо свинья — есть человек, который опохмелился, но не исторг из глубин своего восстановленного существа огромное спасибо за спасительную поправку не только природе, но даже отвратительной нашей власти, нелепой партии и парализованному всеми этими преступными организациями народу.

В душе поправившегося человека вдруг происходит такое бурное, такое искреннее братание с отвергнутыми в разное время святынями семьи, собственности, любимого труда, бытовых обязанностей и разного рода долгов, что только еще ряд восторженных возлияний может несколько остепенить рвущуюся из его горла речь и строго унять нетерпеливые жесты.

О, как тянет говорить человека, говорить, говорить путано и стройно, даже не говорить, а как бы поливать сознание свое и собеседника целебною водою, словно зачахший от засухи палисадничек, не оставляя неполитыми ни комочка земли, ни ростка, ни листика, — говорить, не сомневаясь ни на секунду в том, что речь его необходима в сей требовательный миг не только опустившимся людям и вконец изолгавшемуся миру, но и Высшим Силам.

Кто-то из нас должен был, однако, молчать и слушать. Это был я. Говорил мой спаситель. Он имел на это полное право и, чувствовалось,

давно мечтал выговориться. Вот его рассказ, не поправленный мною при записи ни в единой букве, то есть убереженный от хамского и самодовольного изуродования каким-либо шустрым литобработчиком, возомнившим себя сдурру художником слова, но начисто лишенным воображения, не посещаемым даже изредка озорными, страстными Музами...

Ты, современник, поверь, что если бы народ наш великий не был оторван от московской пищи, то ему вообще цены бы не было. Потому что мне покоя не дает какая-то Япония. Всю ее без труда можно разместить в самых непотребных наших республиках Мордовии и Чувашии с Ханты-Мансийским округом. Народец у нее низкорослый и в очках, но жрет морскую еду в виде коньков, медуз, гигантских таких мандавошек — забыл ихнее название, — подводной капусты у народца этого неслыханное количество, а раковин всяких, где устрица лежит, как биток в закуской, прямо на тарелочке, вообще не счесть. А трепанги? А крабы? А эти самые... омарксы красные?.. О рыбе я уж не говорю...

Зятек мой так и доносил сюда, в верха, что мяса не едят совсем и пьют за обедом горячую водку, ссаки которая по-ихнему называется. Ведь ты погляди, современник, до чего исхитрился японский народ: смекнул подогреть водку. Просто ведь рядом лежит у всего русского народа на глазах такое решение, а он, гад уп-

рямый, наоборот, в холодильники тычет водку, на морозе ее вывешивает там, куда техника еще не дошла, и подохнет скорей в тайге и зимой на стройке, чем подогреет в котелке стаканчик и заест его не колбасой крахмальной, но морской капустой...

Вот и гляди: Япония обогнала весь мир по автомобилям, у нее Америка на коленях просит скромности в этом деле, радиотехникой уши забила даже папуасам и пигмеям, гондошки выкидывает с усами на рынок по таким низким ценам, что Голландия просто руками разводит от удивления, а сделать ничего не может. ООН мешает...

Зятек мой такого насмотрелся в этой Японии, что запивать начал. Наперсток выпьет ссаки тамошней горячей и чует шурум-бурум в голове. От него донесения красочней становятся и тянет к гейшам.

Гейша, по словам зятка, современник, это такая покупаемая в розницу дамочка, которая тебя за пару часов обслужит лучше, душевней и честнее, чем советская какая-нибудь супруга за всю жизнь. Она и на стол накроет, и не зарычит лишний раз при этом, она почитает тебе «Вечерку» с «Советским спортом», капустки морской поднесет; ссаки поднесет в красивой чашечке и вокруг побегает на деревянных подошвочках, тук-тук-тук. О поддержке разговора и говорить незачем. Вся — внимание, скрытый восторг и только веером обмахивается вежливо. Не встрянет, не перебьет речи подлы-

ми вопросами насчет получки и откладывания «капусты» на ковер.

В гробу я видал твой ковер. Я не лягушка и не курица, чтобы что-то от-кла-ды-вать. Ты глаза выкати на меня, как гейша, и слушай, а денег не проси. Я, может, еще и сам дам больше, чем просишь. Ты меня обслужи душой и телом по-самурайски. Я тогда вкалывать буду почище самурая на рабочем месте и по всем показателям, и без туфты. Я тогда тоже гондешек навывпускаю, да навывкидываю на мировой рынок не то что со сталинскими усами, но и с кырломырской бородой. Я тогда завалю весь третий мир транзисторами и эмалированными шайками.

Извини, современник. У кого что болит, тот о том и говорит.

В общем, ссаки и закусь — только в Японии начало. Не успеешь отрыгнуть и в зубах поковырять бамбуковой зубочисткой, как начинается секс. Зятек, говорил, что секс в Японии уходит в глубину веков, тогда как у нас он начался сравнительно недавно.

Гейши обучены тысячам разных технических приемов. Попробуй запомни хоть десяток. Зятек записывать вынужден был порою, так как память просто отключается от удовольствия даже у наших шпионов и дипломатов.

Особенно же бесит меня не секс, этого ни у одного народа не отымешь, но бамбуковая зубочистка. Ты погляди: вмещаем в себя сто Японий, под землею у нас столько добра разного,

что на сорок историй человечества хватит, омываемы мы морями-океанами повсеместно, триста миллионов рыл толчется на этом пространстве, кто поправимшись, вроде нас, кто в изнываниях на служебном месте, но нету у нас почему-то не то что бамбуковых зубочисток — выковыривать из зубов у нас порою нечего... Что такое происходит?..

А вот никто не знает, что именно происходит в нашей стране. Поэтому, скажу от полного доверия к тебе, я и информирую мозговой трест о мнениях и настроениях народа, расположенного в самой низкой плоскости развитого социализма. Я очереди посудочные держу на себе...

Советские люди думают, что к ним не прислушиваются. Прислушиваются, и еще как. Там, в верхах, все известно. Материалы обрабатываются. Но обработчики-операторы — пьянь, сачки и шваль. На чем я остановился?.. Ага.

Я тебе не вру. Моя красная книжечка в сейфе лежит, чтобы не потерял по пьянке, и я информатор самой высокой квалификации. Заметь — никого не продаю и источников слухов и мнений не открываю. Верхам и без меня известно, кто чем дышит, с приблизительной точностью...

В этом месте мой спаситель — назвавшийся, впрочем, Петяней — вынужден был прервать свой рассказ. Мария Ивановна поднятой над перегорodkaми шваброй дала нам понять,

что пора честь знать и смахиваться. Желающих поправиться становилось все больше и больше. Надвигался обеденный перерыв, не говоря уж о наплыве в сортир пенсионеров, которые забивали на бульварчике «козла», а в заведение спускались погреть посинелые руки и задубевшие ноги. Да и сама публика зачастила что-то по той или иной нужде. Мы вышли на мороз.

Я чувствовал, что благородный поступок моего утреннего спасителя не должен остаться без соответственных последствий и, недолго думая, предложил направиться в ломбард, поскольку принял решение заложить костюм, подаренный мамой на день рождения. До лета я вполне мог обойтись без костюма. Друзья узнают меня и без него. В новой очередище Петяня продолжал свой рассказ.

В ломбардах я тоже потрудился порядком. В прошлом году на Седьмое ноября получил повышение. В бутылочной сдаче настроения посложней и поразнообразней, а мнения, само собой, высказываются посущественней. Вчера вот даже проект был высказан. Хмырь какой-то взмечтал залить Мавзолей прозрачной пластмассой. Чтобы Ильич лежал в ней наподобие мухи в янтаре. Это сэкономило бы народу кучу «капусты», потому что, по мнению хмыря, за бальзам и прочий целебный гуталин мы платим Индии и Израилю ежегодные десятки миллионов. А они могли бы пойти на стройку новых ПУПОПРИПУПО...

А другой хмырь доказывал, что, будь у него лаборатория, откуда его пошарили за кружку спирта, он враз изобрел бы новый полимер для винно-водочной посуды. Полимер этот можно было бы хавать как, примерно, студень, включая пробку, и таким образом народ и партия убивали бы сразу пару зайцев. Если в их НИИ икру выдумали искусственную и сливочное масло, то посуду съедобную замастырить — пустяк. Выжрал чекушку, занюхал пробочкой, сожрал посуду и живи себе спокойно.

В общем, должность у меня не пыльная, но, конечно, не то что у зятка в Японии была. Там гейши и горячие ссаки в фарфоровой чашечке...

А я ведь на шпиона в жизни шел... С детства, можно сказать, шел, но не дошел ввиду коварства судьбы и ряда иных неожиданностей подлого порядка. Амплуа у меня было — рабочий паренек. Вася с Курской аномалии, фрей с гондонной фабрики и так далее. Овладел рядом профессий. Учил английский с грехом пополам.

Никита после смерти культа большой упор взял на шпионаж. Пошло пополнение кадров. Ну дядя и устроил меня на учет в органы по части информации. Я в гору двинулся. Бесстрашно проникал в любую среду и собирал факты.

Однажды в пятьдесят шестом году слышу в очереди в баню, что советской власти в Венгрии пиздец приходит и надо бы сала венгерско-

го с красным перцем запasti, а также бычьего вина.

Я даже банный день пропустил, но выдал рапортичку. Что ты думаешь? Через два дня войска наши туда вошли и повесили кое-кого за яйца. Просил у начальства послать меня за рубеж. Начальство присвоило мне лейтенанта, но заявило, что у меня язык хреновый. Тогда я в ответ говорю: разрешите войти в легенду глухонемого. Цены мне в Англии не будет и в Индии тоже.

Начальство одобрило предложение. Экзамен мне устраивали. Стреляли под ухом. А на мне приборы были подвешенные. Ни стрелка не моргнула. Глухой и глухой. На немоту тоже с блеском выдержал проверку. Два раза в очередях провоцировался, но не провалился. Двое гавриков пытались билеты на итальянский фильм взять без очереди. Я их отдернул. Один мне в глаза говорит: цыц, говорит, говно тамбовское. Другой же пидарастом обозвал мелкопупым... Я молчу. Глух и нем. Они еще меня пообзывали, прорвались к кассе и взяли билеты. Но я-то ладно — я на службе и в легенде, а прочий народ, думаешь, постоял за себя? Привыкли мы, современник, быть рабами. Привыкли. Так привыкли, что даже сомневаюсь я порой: не покалечили ли нас при культе до того, что все мы в известном смысле глухонемые? Нам по мордасам... нас по карману... нас по посуде, по продуктам, по одежде, по оплате труда, а мы дышим себе в немытые сопатки,

соплю утираем и проглатываем от партии и правительства все плюхи. Зря я тогда про Венгрию доложил. Зря.

Короче говоря, готовился я уже с подводной лодки вынырнуть у побережья Шотландии и приступить к помощи ирландским террористам, но тут Никите дали по манде мешалкой. Андропов в Москву из Венгрии прибыл и начал глаз точить на КГБ. Интеллигентами его наполнили, а нас — Васьков с Курской аномалии, пошарили обратно в информаторы и в охрану членов политбюро. А чего их охранять? Кому это говно собачье нужно? Кто в них стрелять станет? Такие люди вывелись. Их бы всех по пять раз можно было бы укокать при желании. Все думают, что Ильин в бровастого стрелял самолично, а я предполагаю и знаю, что это Андропов направил дуло, чтобы убрать генсека, пока самого Андропова почки не доконали и прочая хворь. Надо же и ему погулять по буфету слегка...

Вот я и топтался у правительственных дач, как попка. Шкалик с собой брал всегда на дежурство. Засосу глоток, занюхаю мандаринкой или яблочком и снова топчусь.

Наблюдаю за жизнью правящего класса и как они бутылки не сдают, но выкидывают. Зажрались, падлы, и хер за мясо не считают, как в народе говорят...

Так бы, думаю иногда на морозе, залил бы

зажигательной смеси в поллитровку и врезал бы в дачное окно под Седьмое ноября. Там у них такие развратные дела происходят, что не стесняются и занавески раздергивают. Смотрите, мол, трудящиеся массы, как удовлетворяются правящие классы.

Вдруг подъезжает ко мне однажды «Волга» на трех колесах. Четвертое спустило. Старый большевик с красным рылом вылезает и говорит:

— Я заплачу, товарищ. Смените нам баллон. Я с домкратом не справлюсь.

В «Волге» две дамочки сидели. Одна сушеная уже, а другая помоложе. Черноглазая. Высокая. Физия широкая и длинная. На голове коса.

Отвечаю вежливо, что не выгуливаюсь здесь, а делом занят. Старый большевик говорит:

— Все мы, товарищ, делом заняты. Я в партии с двадцать четвертого года. Не звонить же в ЦК по пустякам.

— Пожалуйста, — просит дамочка помоложе и язык облизывает. Кокетство наводит.

Плевать, думаю. Халтура никогда не помещает. Никто тут не жажнет в члена политбюро, если он даже мимо проедет, пока я баллон сменяю.

Сменил. Сунул мне коммунист пятерку. Я не беру. Он полагает, что мало дал. Но я и червонец не беру. Передумал я брать. Вдруг это проверяющие?..

Тогда сушеная говорит мне:

— Заходите к нам после дежурства. Наша дача в проезде Ленина на углу Розы Люксембург.

— Будем рады, — говорит молодая. — Как вас зовут?

— Петр.

— Не обижайтесь, что деньги предлагал. Великий Маркс считал необходимым оплачивать наемный труд. Что и говорить — принцип этот иногда выполняется не до конца. Заходите. Побалакаем, — добавил партиец.

Я пообещал зайти, так как сразу почувал сильное половое влечение к молодой и ниже-средне-сильное к сушеной. Такие отчаиваются на многое в постели юных холостяков.

Пришел сменщик к десяти вечера. Разило от него, и отрыгивал он студнем с чесноком. Я отлил у забора — в гостях стесняюсь отливать — и двинулся на дачу.

Прихожу. Стол накрыт. Телик включен. Сушеная в юбке ходит, а дочь в брюках. На стенах фотографии. Партиец, оказывается, полковником был в органах, а жена его майором. Служили в тюрьмах и в лагерях. Я получил на этот счет короткие пояснения. Полковник после первой чайную бабу снял с какого-то предмета на буфете. Это оказалась фигура Сталина по пояс.

— Нам ее зеки отлили из чистого серебра на рудниках, — сказала сушеная, — но мы не собираемся переливать ее на кольца и портсигары, как некоторые.

— Да, — говорю, — при нем порядку было больше. Молодость женского пола брюки только на фронте носила, и цены снижались регулярно.

По второй врезали. Песни начали петь советские и Никиту ругать за ревизионизм и горлопанство. Но главной его ошибкой, по словам полковника, было то, что он ввел войска наши в Венгрию. Надо же было врезать по Венгрии малой водородной бомбой. В следующий раз неповадно было бы иным сволочам бунтовать против органов. Посмеялись... Тут я бутерброд с семгой под стол уронил. Полез его доставать. А сушенная голову мою зажала между колен на секунду. Намек дала...

Дочь ее звали Марленой. Мы слегка потанцевали танго «Брызги шампанского». Фигура у нее была сильной, с тягой к власти в танце. Затем еще поддали с полковником под разговоры о былых временах славы вождей и страха народа.

Спать меня уложили. Поскольку я окосел. Ночью меня сушенная разбудила и быстро изнасиловала. Села на меня и слова вымолвить не дала. Ну а мне-то что?.. Я зверем был в то время на это дело, а баб не имел как следует. То денег нет, то негде. Организм же требовал регулярности в сношениях.

Утречком позавтракали. У меня был выходной. На «Волге» поехали покататься. Потом пора было и честь знать. Распрощались. Зовут на день рождения Сталина приходить. Подарков, говорят, не надо.

Прихожу через недельку. Компания подобралась приличная. Трех человек я в газетных фотографиях видел. Большие люди. Но главное — начальник мой подходит и запросто здоровается:

— Привет, Поземкин. У нас тут, блядь, не высший свет, а народная демократия. Так что — не робей.

Посадили рядышком с Марленой. Она в юбке была на этот раз. Волосы распустила по плечам. На двух языках трекает с какими-то дипломатами нашими.

Сушеная неподалеку. Со значением охотничью сосиску пожевывает и яйцо под майонезом, начиненное красной икрой...

Тост поднял полковник. Голос дрожит. Кланяется серебряному Сталину в пояс, с которого бабу чайную убрали, и говорит слова:

— Живы в сердцах... скорбим в распушенности нравов... ваше учение непобедимо внутри страны и на международной арене... Бывайте здоровы, так сказать...

— Ура-а-а, — забазлали гости со смехом и шутками.

Поддали. Марленка за коленку меня держит невзначай. Я тоже провел по ее ноге экспедицию вниз и вверх... Сытая баба. Гладкая, но волосом колется — бритым, по всей видимости... Волос на женской ноге меня возмущает и вводит в псих... Однако про него и забыть можно, рассуждаю про себя.

Потом снова тосты пошли, воспоминания и тоска по былому порядку, когда каждый из них был полным хозяином и мог лично расстрелять любую ленивую и вражескую шваль.

Окосел я порядочно. Все же — не шутка, что я в свои молодые годы с такими людьми выпиваю и закусываю. Кое-кто из них папаню моего знал по работе в органах. Мы его помянули с маманей. Она посуду мыла в Кремле и рак легких схватила от вечного пара и разной химии, которой яд на сталинских тарелках убивали вместе с микробами...

Потанцевали. Зажал я Марленку по-нашенски, по-чекистски, так что косточки у нее хрустнули и фары на лоб вылезли от томления. С парой дипломатических кобыл покружился для пущего тона. К сушеной не подхожу принципиально. Нечего человека будить и вскакивать на него, рот одеялом заткнув. Я тебе не лошадь Буденного. Я сам должен шагнуть на тебя, а там видно было бы.

Тут генерал мой отводит меня в сторонку и говорит:

— Ты, Поземкин, не зевай тут. Карьера сама прет тебе в руки. Приятнейший способ. Девка видная. Приданого на целый полк хватит. Я — за! Поздравляю.

— Спасибо, — отвечаю, хотя холодок у меня пробежал между ног. Волосатость ножная меня очень смутила, тогда как у сушеной тело было поглаже. Да и при таком раскладе трудно будет жить с тещей похотливой под одной кры-

шей. Застукает. думаю, полковник и врубит в брюхо крупной дробью.

А генерал мой уже тост предлагает за по-молвку и рекомендует меня как достойного члена семьи верного сталинца. Что мне было делать?.. Была не была. Раздухарился... Нацелился, однако, на будущую свою половину с первого взгляда и, как говорится, упал. Дружно пройдем рука об руку до заветной цели...

Гости почему-то загрохотали после моих слов. Генерал мой говорит:

— До такой цели и дурак дойдет. На такую цель народ подгонять не надо. Тут он без политических руководителей обходиться привык. Х-ха-ха...

Хотел я затем обжать посущественней Марленку в беседеле. С этим делом не шутят. А мне завтра в охранке топтаться... Поцелуи пошли... Предлагаю по-папанински возлюбить друг друга прямо на морозе...

— Ты слишком горяч, Петушок. Хочу, чтобы все было, как при царе, в деле брака... Ты напейся воды холодной — про любовь забудешь.

— Хорошо... Извини... Но где мы жить-то будем? Надо бы нам отдельно.

— У нас две комнаты есть в центре. Туда переедем.

— Тебе сколько лет? — спрашиваю.

— Возраст для нас не имеет значения. Ты ведь на человеке женишься, а не на возрасте...

На этот раз не остался я ночевать, хотя будущая сушеная теща оставляла настойчиво. Ну, сука, думаю, погоди. Я тебе покажу, что такое моральный разброд в доме сталинца.

Генерал мой довез меня до общаги лубянской. Между ног все опухло и болит. Пришлось уборщицу-дежурную вызывать и раскошелиться. Она пользовалась с позволения начальства нашей возбудимостью и драла безбожно с неженатых телков втридорога. Однако здоровье дороже денег.

В общем, на службе меня поздравляют, анкету велят писать в высшую школу шпионов и втолковывают, что у меня теперь манеры должны быть солидными. Воздух надо научиться не портить в столовой, что еще случается в наших рядах... все силы отдать изучению языков... усилить любовь к беззаветной преданности и бдительности.

В этом месте костюм мой был наконец принят. Я проводил его печальным взглядом в морозильную камеру. Выкуплю ли я его когда-нибудь?

Забыл сказать, что нами были допиты в очереди остатки целебного коньяка... Затем мы купили вермута и продолжили поправку здоровья в атомном бомбоубежище, где было вполне тепло и достойно. Петяня продолжал, закусывая сырком «Нева» и еще кое-чем, купленным в продмаге.

Свадьба, современник, была у нас блистательная. После загса полковник-тестюшко на колени поставил нас перед Сталиным, с которого снова сняли чайную бабу. Повторили мы за ним какую-то клятву. Затем гулево пошло. Стюдень. Рыбка. Икра. Пирог. Поросенка целого внесли на трофейном блюде. Теща сказала, что ему цены нет, так как оно принадлежало королю Фридриху. Песни петь начали. Сначала про Сталина, потом блатные: у тещи коллекция была после службы на золотых приисках. Все, как в дыму, в общем, было. Свадьба... А я сижу, дышу, как зверь, и в кровать рвуся. Месяц никого, кроме уборщицы, не имел. Сам Марленке шепчу:

— Давай... как при царе... чтобы простыня была... иначе говоря... алый стяг невинности бывшей...

— Не говори, Петр, глупостей. Лучше выпей еще и закуси.

Я и наакался постепенно в сосиску. Отвезли нас, не помню как, на машине в московскую квартиру на брачную ночь и оставили. Корзину выпивки и закуси дать не забыли.

Просыпаюсь. Рядом жена, а у меня башка на части трескается. Пускай поспит. Успею еще, думаю, отдуплиться. Вышел в сортир, а мне тут же какая-то шмакодыжка пожилая заявляет, что у них по коммунальной квартире в кальсонах не ходят. Ей поддакивает сосед мужского пола. Просит одеться. Меня зло взяло. Цыц, говорю, обыватель херов. Что мне, в

бальном платье спешить в сортир? Я — человек простой. У меня тесть и теща из органов. Так что сопите потише. У нас в стране есть демократия унитаза.

Они продолжают настаивать:

— Оденьте, пожалуйста, что-нибудь на кальсоны, тогда уж занимайте туалет.

— А если, — говорю, — я обратно не дойду? Кто отвечать будет? Издеваетесь над оперативным работником?

— Давайте, товарищ, не ссориться. Оправьтесь. Но это в последний раз. Иначе... напишем в партбюро.

Вышел я из сортира в ином направлении ума и души. Оделся. Корзину вынес с выпивочным и закусью на кухню. Предложил выпить за мое новоселье и женитьбу... Советский человек быстро отходит... Еще человека четыре набралось в кухню выжрать стопку на халяву и закусить дефицитом... Выпили... Разговоры пошли... Затем отволокли меня в комнату мою и в постель к Марленке бросили.

Растиркал я ее и приступить хочу к делу... Уняла она мою прыть... Сходила умылась. Ложиться больше не стала...

— Хочу сказать, Петя, что я не девушка. Была изнасилована зеками-беглецами в пятнадцать лет. Их потом расстреляли на моих и маминых глазах, но мне теперь тяжело... так... сразу... сойтись с тобой... подожди...

Я после этих слов — руки под голову и смотрю злобно в потолок. Ничего себе брачная

ночь. Делаю ряд рационалистических предложений с целью облегчить мое половое состояние. Она — ни в какую. И соседи, чую, под дверьми подслушивают.

Вдруг — телефонный вызов: «Собирайся в момент, Поземкин. Машина уже вышла за тобой. Старшим будешь. Дачу Брежнева засыпало снегом. Быстро привести все в порядок».

Вякать насчет брачной ночи было бесполезно. Уехал я по заданию. Не каждому ведь такая честь — брежневскую дачу из-под снега вычищать и дороги подъездные налаживать. Бурный был снегопад. Сам Ленька вышел с семьей в снежки поиграть. Вот, думаю, чью-то дочку жახнуть не мешало, но куда уж нам с кирзовой рожей в шевровый ряд.

Поправился на морозе слегка. Разрумянился. В кровать к Марленке меня снова поволокло — чистый жеребец. Кровь играет в мозгах, видения неприличные мелькают. Даже бритые ноги забылись. При чем тут, думаю с воодушевлением, ноги... ноги тут ни при чем... нам детишков делать надо, чтоб играли на тестевой даче в снежки.

Являюсь домой. На столе записка лежит.

Петя, меня тоже вызвали на срочное задание. Когда вернусь, не знаю. Целую.

Твоя М.

Вот тебе и на... Сел с горя на пол и прибежал первый раз в жизни к онанированию...

В душе горечь и пустота. В организме остальном — желание надраться и обосрать всю мебель и посуду. Брачная ночь дается человеку один раз, быть может, а я на что похож?.. Что я парням по службе расскажу?.. Что в деревню напишу дяде и тете? Как мне в зеркало вот это на себя глядеть? Да такого в истории, небось, не было, что жених после брачной ночи сидит на полу и наподобие шимпанзе наяривает сам себя остолбенело. Выжрал затем всю водку и свалился. Просыпаюсь и тестю звоню. Тесть отвечает:

— Задание — есть задание. Вернется с него, тогда и понежишься. Время нынче особое. Позиции надо отвоевывать, сданные Никиткой. Приезжай, попаримся...

Попарились крепко. Тесть задрых в предбанничке, а ко мне на полок теща завалилась. Прodelал с ней все, что надо в печальной необходимости. Здоровье дороже.

Затем служба снова пошла, и время побежало. Прибывает вдруг через две недели Марленка. Загорелая, ноги не бриты, костюм новый, заграничный.

Я без упреков встречаю и ни о чем не спрашиваю. У нас служба такая. А сам тактику решил изменить. Сели обедать. В коньяк подкидываю жене таблетку снотворную, а себе, чтоб не спать. Я их на дежурстве выжирал бывало, а доставал у медсестры за деньги.

После обеда говорю:

— Давай отдохнем слегка.

Легли. Поцелуи пошли с объятиями, но в одетом виде. И тут я, сам не знаю как, задрых. Провалился. Просыпаюсь. Время — три часа ночи. Марленка книгу читает. Заснуть, говорит, не могу. Самолет время моей жизни нарушил.

— Да, — отвечаю хитрожопо, — на Кубу раз слетаешь — потом две недели мучаешься.

— Откуда ты знаешь, что я на Кубу летала?

— Мы много чего знаем.

Вот я дурак был. Дал Марленке не ту таблетку, а сам нажрался снотворной дряни. Она мне нужна для ночных дежурств в закрытых помещениях.

Выпили еще крепко. Разделись. На этот раз она задремала, а я приступил к медленному проникновению под трусы. Окосеть успел порядочно от выпивки и молодой страсти. Желая активной брачной жизни — и все. Точка...

Теперь ты войди в мое положение. Пойми меня, друг. Я отзыва ищу в чужой душе. Снимаю трусы с жены шелковые и что, ты думаешь, держу вдруг в своей руке?.. Понять сначала не могу. Полагаю, надрался и мерещится мне нечто ужасное от коньяка с таблетками.

Ташу лампу настольную под одеяло, и стон вырывается из моей груди ужасный. Прямо на меня глядит небольшой мужской член. Вбок свесился. Глазам поначалу не верю и в руку его снова беру. Да — именно это самое в дряблом и желтом виде, словно у Ильича в Мавзолее...

И бешенство меня взяло. Ах так, гаденыши! Продолжаете культ личности, значит, падлы

коварные? Простому русскому человеку хер всучили в упаковке?

Что там у Марленки еще было, кроме члена, смотреть не стал. Схватил ее за ноги и к окну потащил выбросить с девятого этажа к едрене фене. С нами не шутят. Тут она просыпается и в ужас приходит, а я ее мудохать начинаю чем попало и куда попало. Зачем, сука, подлог устроила? Ты кому заячьи уши в дырявый мешок завернула? Убью. Не снесу измывательства над моей крайней плотью и справедливой душой. Убью.

Дрожит, шкура. Петя, прости. Начальство настояло. Я должна была стать выездной в замужнем виде, так как Юрий Владимирович запретил выпускать одиноких. Я же не виновата, что я такая.

— Не такая, — отвечаю, — а «такой». Убью непременно. Люди, — ору, — люди русские и советские, глядите, кого мне подсунули. Женщину с членом. О-о-о-о...

— Ах ты, паразит, тайну постельную разглашаешь? У тебя у самого жопа, как распаренная жопа. Говноед тамбовский. Молчи, дурак. Спасибо скажи, что в такую семью вошел...

— Какую семью она нашла... Я твою мамашку деру, как сучку, чуть не на глазах у тестя. Вы все — моральное разложение. Недобитки бериевские. Паскуды.

Хрясть настольной лампой ей по башке. А она меня стулом между рог. И пошла возня.

Я в коридор выбежал и свидетелей зову поглядеть на женин член. Все выбежали спрошонья. Кто откажется от такого театра? Сел я на пол и рыдаю в голос. Слыхивать не слыхивал о такой перипетии. За какие грехи это все на мою голову свалено?

Марленка тем временем в психушку позвонила. Приехали санитары с врачом. Я плачу и говорю, что так, мол, и так... супружница с членом оказалась у меня... надули. Может, я еще кое-что болтал... не помню сейчас. И поехал я с ними, лишь бы в доме прокаженном не быть рядом со Змеем Горынычем в юбке.

Но в психушке начали мне внушать, что никакого члена у Марленки не было и нет. Тебе, Петя, это по пьянке померещилось. Такое бывает с пьющими. Хорошо еще, что промеж ног ты его увидел... Федякин, тот на лбу у начальника узрел. Причем целых два и светились они наподобие рекламы «Аэрофлота» — синим пламенем. Откажись от такого видения — и пойдешь на поправку.

Я принципиально уперся. Решил правды добиться. Но недаром в народе говорят: где правда была, там хер вырос. Да еще какой! Доказываю. Жалобы пишу. Головой об стенку бьюсь. В «буйное» меня перевели. Туда наконец генерал мой явился. Завел такой разговор:

— В жизни, Поземкин, и не такие случаются происшествия. Мы вот Пеньковского недавно расстреляли. Был коммунист, а оказался полковник американской разведки. Про жену

забудь. Считай, что выполнил с честью задание. Она у нас теперь выездная и пошла в гору в Комитете советских женщин. Там тоже нужны, так сказать, кони с яйцами. Идеологическая борьба идет у нас с Западом не на жизнь, а на смерть. Поэтому ты дай подписку о неразглашении тайны полового устройства ответственного работника. В нем не это дело главное, а ум и воля. Мы тебе работенку подыщем славную и оперативную... Девочек с нормальным хозяйством в стране у нас хватит для тебя и еще останется.

— Обидно, — говорю, — товарищ генерал... обидно... партия прямо могла мне сказать, и пошел бы я ради нее под трусы к самому черту... обидно...

— Партия, Петр, ничего не знала о двухснастности Марлены Федоровны. Но теперь она незаменима, потому что в зависимости от цели может за пятнадцать минут переменить пол в оперативной обстановке. Может и врага обольстить и жену его зажать. На Западе сейчас очень мода развилась на лесбиянство и педерастию, чем и должны пользоваться коммунисты. Понял?

Пришлось мне дать подписку о неразглашении, а в истории болезни написали, что кончились у меня маниакальные галлюцинации с навязчивыми идеями и я больше не являюсь инакомыслящим.

После выхода вдарился я в меланхолию и философию. Каждую новую бабенку предель-

но обнажал и подозрительно выпрашивал. Мания преследования членом со стороны женщин с полгода меня одолевала. Лекарства пил.

Затем выбрал себе работку по вкусу. Я с народом хочу быть бок о бок. В народе вся правда и обида накоплена. Пускай партия знает про это. Иногда я сам кое-чего для выполнения плана подсочиняю, но персонально никого не продаю. Я по слухам и мнениям брошен работать. Приходится, конечно, и распространять слухи самому в период обострения международной обстановки. Еврейскую тему в народе развивать. Таким образом, все говно от партии отливает в душе народа и подкатывает на евреев. А им не привыкать. Так уж устроена история...

Смотрю иногда, современник ты мой, в газету «Правда» и вижу портреты деятелей Комитета советских женщин... Плюю на них и многозначительно ухмыляюсь. Тут, кстати, слух пошел упорный, что Ленин тоже был двухснатный, а оттого и такой умный, лживый и жестокий, но проверить такое дело нет у меня лично никакой возможности.

Хорошо мы с тобой поправились. Увидимся еще. Завтра я стою в ковровой очереди. На той неделе в овощном. Там лук зеленый давать будут и апельсины к Новому году. Само собой разумеется — вредящих следует ждать разговоров и слухов. Так вот и живу. Жениться не хочу. Боюсь напороться на такое же дело.

Скоро уж на пенсию выйду или в Мавзолей

переведут. А там работа — не бей лежачего. В мавзолейной очереди все молчат, как рыбы. Каждый думает о своем. А о чем именно, никто догадаться не может. Есть у меня догадка одна, но я об ней промолчу.

А с тещей я иногда парюсь в баньке. Тестя же паралич разбил. Одели мы его в чекистский китель, ордена все нацепили, и лежит он себе наполовину голый. Под себя ходит и подышать не собирается.

Ты извини, современник, что я без очереди не пристроил твой костюм, но не имею права нарушать конспирацию. Я в очередях — инкогнито...

Мы распрощались, не успев как следует надраться. Меня переполняло чувство жизни — сладчайшее и горчайшее одновременно. Вокруг продолжалась история в нелепой форме советской власти. Хотелось еще врезать стаканчик, но закладывать было больше нечего. Душа моя жила, однако, надеждой на случай, который есть ветреный родственник чуда. Он не замедлил представиться. Об этом в следующий раз...

Новая Англия, 1981

СМЕРТЬ ЛЕНИНА

На мой суровый взгляд, сдавать пустую посуду весьма приятно в одном лишь единственном случае: когда ты уверен на все сто процентов, что у тебя ее примут. Если же в состоянии тяжкого утреннего похмелья, постепенно переходящего в мучительное дневное, уверенности у тебя стопроцентной в этом нету, то жизнь твоя — как, впрочем, и жизнь всей длиннющей очереди к пункту приема пустой посуды — превращается в пытку адского ожидания и зверского, при всей его скрытости, протеста против мелкого свинства нашего времени.

Человек с обостренным душевным слухом улавливает тогда в каждом соседе по очереди как бы надтреснуто-жалобное звучание всей его нервной системы, вновь подвергающейся утонченному измывательству со стороны торговой сети бесчеловечного государства.

Разумеется, нервишки шалют у всех поразному и в строгом соответствии с ориги-

нальностью каждой отдельной личности. Причем не следует забывать, что похмельное состояние как бы оголяет любого человека перед собственным его испытующим взором, независимо от того, какой именно натуре принадлежит взор — художественной, например, увлеченной и развязно болтающей или же натуре, крайне подавленной всеми без исключения обстоятельствами вынужденного существования на Земле, а потому и размытой на фоне алчущей толпы до удручающей незаметности.

А ежели открывается в тебе вдруг ни с того ни с сего бесстрашие воспринимать в положении ближнего нечто невыносимое, то, что непьющие специалисты весьма приблизительно называют трагическим, то каких только борений человека со своей совестью и с Роком ты не будешь свидетелем. Только боязнь, что разрыдаешься ты неудержимо от новых подробностей чьего-либо низкого падения и вчерашнего пресмыкательства перед змием всесоюзного алкоголизма, что взвоешь внезапно от того, что делает с собой человек ради губительной страсти к выпивке и кого он в себе при этом непременно губит, что взвоешь и вызовут «скорую», и увезут в психушку, несмотря на бешеное твое сопротивление и нежелание оставлять неизвестно какой сволочи пару авосек пустой посуды, — только эта боязнь удерживает тебя от пылких жестов и безумных высказываний.

Так вот, в тот самый день все мы — человек сто, если не больше, — уверены были вполне, что каждый из нас вскоре воспрянет в самозабвенном полете, что в руках у каждого, отягощенных унылым грузом пустых стекляшек, вдруг объявится крылатая легкость и закипит в страдающих организмах юношеская страсть к достижению самой нелепой цели.

Очередища двигалась быстро, походя, возможно, на фантастическую рептилию, смердящую изо всех своих пор зловонной сивухой и многоголосо гудящую, поскольку надежда сдать вот-вот пустую посуду прерывала угрюмое молчание живых страждущих звеньев, вынужденно соединенных в эту советскую гидру.

Живые звенья, то есть мы, при движении к желанному провалу в подвал поднимали и вновь ставили на место разные сумки, авоськи, мешки и даже ящики, так что извивающееся существо очередища неумолчно позвякивало, тренькало, скрежетало и издавало иные, зачастую омерзительные акустике и атмосфере, порошне стеклянные звучания.

Конечно же, передних, как всегда, распирало от недостойных чувств самодовольства и превосходства. Задние же нескрываяемо изнемогали от зависти, а порою и от более сильного и низкого чувства. Сло́ва для него вы никогда не отыщите ни в одном словаре, потому что само это чувство присутствовало во всех, без исключения, живых тварях лишь на заре

так называемой эволюции, когда языков никаких не существовало, но лишь оглашал старшие окрестности Творенья звук утробного ужаса перед развитием.

Живые твари бессознательно чуяли полную историческую невозможность возвращения в лоно Предвечного, но одновременно, преодолевая ужас перед развитием, стремились — бессознательно же, разумеется, — продвинуться куда-то вперед, хотя неведомо куда именно и неизвестно зачем. То есть в живых тварях наблюдалось вечно смущающее всех мудрецов явное желание содействовать прогрессу, подперченное тем самым отвращением к эволюции, иначе говоря, к стоянию в очереди за прогрессом, а еще точнее говоря, подперченное безумным страхом перед Временем.

Позднее прогрессивные философы внушили полностью якобы просвещенному человечеству идею насчет светлого будущего, построить которое следует своими руками. Тогда, но никак не раньше, прекратится стояние к нему в тоскливой и недостойной гордого человечества очереди.

Как известно, советская наша власть первой совершила гигантский революционный скачок из мрака необходимости к царству свободы, или, как сказал бы ироничный обыватель, схимичила дефицитного прогресса без очереди.

Но, схимичив весьма, признаем, удачно,

что-то такое совершила советская власть с болезненным от рождения, бедным и почти беззащитным организмом Общества, что моментально поперлось оно, подгоняемое сворой партийных шакалов, вспять по лестнице эволюции, взад очередищи Истории.

В прежде приличном, хотя и несовершенном Обществе проснулись невероятно ужасные чувства, сдерживаемые подчас в людях, убивающих время в очередях, исключительно страхом перед тюрьмой, то есть возвращением в бесчеловечное рабство ко Времени.

Не могу не вспомнить тут об одном мужичишке, спокойном на вид гражданине неалкоголического типа, явно никогда не пропивавшем в отчаянные минуты верхней одежды и честных наград войны.

Огромное количество пустой посуды он приволок на санках, занял очередь, подождал пару минут следующих каких-то ханыг, подобострастно предупредил, как водится в порядочных очередях, что спешит на работу на автобазу и вернется вскоре на своем грузовике. Добродушно сообщил, что три дня гуляли свадьбу Нюрки с «пилотом наружной авиации». Совсем уж доверчиво добавил, что «поправиться у компании нету ни капли», и в чудесном расположении духа покапал на автобазу.

Я и мой друг Паша, физик по образованию, стояли слегка впереди того социально-аккуратного мужичишки-шофера. С нами было двес-

ти семнадцать бутылок разного калибра после дня рождения Паши, на котором, не без невинных безобразий, славно попьанствовало не менее ста пятидесяти человек.

Пока мы туповато поддерживали меркнущие сознания попыткой разобраться в том, что такое «наружная авиация», мужичишка действительно вернулся на рабочем грузовике. Первым делом он бросился к двум ханыгам. Страстно попросил опознать его: «Я давеча убежал на автобазу... Перед вами стоял, земляки...» Многие задние люди, как бесчувственные и замкнутые сами на себе звенья рептильной очереди, гнусовато и лживо забазлали: «Тут всякие давеча убежали на автобазу...», «Я твоего заявления, тут сроду не замечал...», «Мы таких видали и знаем, у нас этот номер не пройдет...», «Если б каждый вроде тебя уходил, то и очередей в стране не было бы, а все являлись бы к сдаче посуды в положенный срок...» — «Земляки, я вам Христом-Богом клянусь, совесть не даст соврать: занимал. Вот за этим, с фингалом, и за тем вот, небритым, занимал. Он еще картавил... «скогей пгиходи, на хег ты сдался стоять тут за тебя?» «Не помню», — жестоко ответствовал картавый, а тот, который был, по мнению мужичишки, с фингалом, заезуитствовал: «Во-первых, это не фингал, а почки с похмелья тормозят водянку, а во-вторых, никуда ты не отходил, потому что ты сюда и не приходил...»

Никогда не забуду выражения лица того мужичишки. Сначала он густо покраснел от беспомощного, но яростного стыда за лживое человечество, как бы даже позабыв о своих персональных заботах. Затем мгновенно побледнел, словно человек, выслушавший смертельный приговор, весь жуткий смысл которого с запозданием пронзил его душу. Побледнев, тихо сказал: «Земляки... вон ведь и саночки с посудой... меня компания ждет... Так не-е-ель-зя...»

Мы с Пашей бурно стали доказывать всем опустившимся социальным уродам, что мужичишка стоял и уходил, что все мы, так сказать, стоим, уходим, а потом приходим и не хера тут зловредно выкаблучиваться...

«Земляки, нету саночек!» — возопил вдруг мужичишка. Нервически и бесполезно посповавав по окрестностям приемного пункта, он с тою же странной обескровленностью на совершенно по-детски обиженном и поистине растерянном лице повторил: «Саночек-то нету, земляки...» «С того бы и начинал, ботинок хуев», — сказал картавый, мстительно подбирая слова без рычащих согласных... «Прохиндеев с утра — ну просто как грибов», — высказался тип с синими мешками под глазами... «Так нельзя», — рассудительно, но с глубочайшей обидой повторил мужичишка, обращаясь уже не к безобразно жестокой очередище, а как бы к Высшим Силам, отвлекшимся по каким-то причинам от на-

блюдения за порядком и справедливостью в нашей очереди. «Так нельзя», — с пафосом, весьма странным для человека простого, убежденно повторил мужичишка, после чего куда-то сгинул...

Не буду уж тут описывать, какая тупая тоска объяла ряд нормальных, совестливых, но бессильных чем-либо помочь несчастному душ.

Принявшие же участие в травле завели вдруг весьма энергичные разговоры об ужасах раскулачивания, о ежовском терроре, о язвах и ранах войны и о незабываемых мытарствах в эвакуации... Всеми этими охотными мемуаризмами травители и обидчики, скорей всего бессознательно, внушали себе и нам, что в жизнях ихних, а соответственно и в истории нашей многострадальной сверхдержавы, были такие моменты, по сравнению с которыми какие-то паршивые саночки с пустой посудой и шоферишкой-прогульщиком — это все равно что лишнее перо, выпавшее вдруг из куриного гузна по каверзному своеволию природы.

Очередища тем временем двигалась, доводя чуть ли не до экстаза благодушия всех находящихся в предельной близости к провалу в подвальное чрево и скромно подбадривая только что пришедших бедняг, угрюмых еще от скопления в сердцах утреннего отчаяния.

Живые, изнемогающие от безденежья и сужения сосудов звенья очереди продол-

жали звякать передвигаемой и переносимой посудой. Лучше уж было не прислушиваться к этому во всех отношениях невыносимо разлаженному звучанию жалкого стекла, в унижительной зависимости от которого вынуждены находиться и издерганно-гордые, и привычно-непритязательные личности.

Мой друг Паша, удрученно молчавший после душераздирающего происшествия с мужичишкой, вдруг шепнул мне чистым, горячим шепотом похмельной молодости: «Все... больше не могу... надо что-то делать... мы не умеем ни принимать самостоятельных гражданских решений, ни сдать по-человечески посуду... второй час стоим... подлое блядство...»

Я, как обычно, беззлобно поддразнил моего друга, дедушка которого принимал самое активное участие в революционной деятельности ленинцев, мечтавших превратить все-российский грязный бардак в царство социального благополучия. Стоять нам оставалось минут пятнадцать. Мы явно успевали, сдав посуду, купить водяры, пивка и пельменей до закрытия «кишки» на обед.

В этот момент очередища драматически разволновалась. Пронесся слух, что не принимаются бутылки из-под шампанского с цимлянским и майонезные баночки.

«Тара кончилась... Тара кончилась... Тара кончилась...»

Очередища конвульсивно подперла к две-

рям приемного подвала. А подвал изрыгнул из себя пару изнемогающих от ненависти ко всему белому свету неудачников. Они больше не являли собою, как десять минут назад, самодовольных фигур жизненной удачи. В руках у них раздражительно позвякивали несданные крупные бутылки, ценою по семнадцать копеек, а у одного за спиною, как какой-то неорганический и вовсе чуждый человечеству Черт, расположился здоровенный рюкзак, распираемый проклятыми майонезными баночками. Расположился и мелко бесил человека невозможностью скрыть от окружающих и от самого себя образ предельной бедности, который связан в умах поголовно всех обывателей сверхдержавы с собиранием, накапливанием и сдачей именно этих мизерных, оскорбляющих последние твердыни человеческого достоинства майонезных баночек...

Кстати, редчайшим видом социального, нравственного и даже художественного падения считается в народе сдача взрослым, пьющим человеком мешка бутылочек из-под разных лекарств, редких в нашей стране соусов, многочисленных ядовитых бытовых жидкостей, а также из-под лосьонов, духов и одеколона. Да и принимают эту посуду где-то в местах, ни разу не попадавших на глаза ни мне, ни моим знакомым, но, однако, существующих в природе общества, которое, по слухам же, скоро напомогает народно-освобо-

дительным движениям и диким, возникающим при успехе этих движений тираниям до того, что простому населению дана будет возможность сдавать не только мизерные бутылочки, но и спичечные коробки. ПУПОПРИСПИЧКО от населения... Это выглядело бы достаточно завершающе для сверхдержавы, находящейся, по убеждению отдела пропаганды ЦК КПСС, в первой фазе коммунистической формации.

В очередище вдруг начались назидательные изменения. Некоторые, бывшие первыми, стали последними, поскольку нагружены были шампанской, цимлянкой, сидровой и еще какой-то импортной посудинкой. Бывшие же последними, естественно, стали первыми. Пристальный наблюдатель мог бы отметить при этом, что душевно-физиогномический такт, проявленный как теми, так и другими при сдержанном сокрытии чувств мелкого торжества и раздражительной ярости, достиг поистине героических высот. Все мы несколько притихли перед всеустрашающим явлением мудрого призрака социально-бытовой справедливости, затем бурно разговорились, как это случается в очередищах подобного типа. Сей феномен всегда доказывал лично мне, что советская очередища, где бы и по какому поводу она ни возникала, безусловно, являет собою глистообразный зародыш сверхкоммуникативного монстра, состряпанного мстительной историей для фантастичес-

кого будущего Сверхдержавы, а возможно, и всей нашей планеты*.

Говорили мы невпопад. Каждый старался искреннейше выложить либо наболевшее на душе, либо запекшееся в похмельном мозгу. Не принимали участия в разговоре лишь горестные женщины разных возрастов. Это были близкие родственницы тех, кто пропил каким-то образом весь семейный достаток, оставив ближним надежду на выживание до получки в виде чекушек и поллитровок.

Тема бесконечной и поголовной униженности советского человека, словно молниеносная гангренозная зараза, охватила вскоре почти все живые звенья нашего извивающегося на тоскливом пустыре алчущего чудовища.

Серовато-синеватые прежде лица пропойц и просто озябших бедолаг оживленно разрумянились. В мутных глазах появился если не свет мысли, то приблизительно человеческое выражение. Оттянутые посудной тягомотиной руки вскинулись в жестах горячей помощи еле ворочающимся, обезвоженным языкам. Кто-то даже запел ни с того ни с сего далекую от темы разговора «отвори па-атихоньку каалитку-у...». Кто-то предложил категорически расстреливать приемщиков посуды за необеспечение болгарского и венгерского сухарика надлежащей тарой. Какой-то умник заявил, что очереди возникают не от недостатка различных продуктов или же нерасторопности

* См.: Гоббс, «Левиафан».

торгово-снабженческой сети, а от переизбытка времени у населения. «Время у тебя есть. Потому ты и стоишь тут. А не было бы — так и не стоял бы, а находился в другом месте. Захавались вы тут, как взгляну я на вас после червонца разлуки, сухой мне быть...» «Позвольте, — возразил мой друг Паша, — зачем распространять философию тюрьмы на проблему прав человека? Мы все-таки еще на воле». «На воле ты был, пока папа маме палку не кинул, — мрачно сказал философ тюрьмы и вечной ночи, — а как, извините, кинул папа маме палку, так ты и проканал из свободного живчика в кандей жизни. Вновь расконвоирован будешь лишь в гробу. Не ранее...» «Такие, как вы, — гневно крикнул Паша, — превращают борьбу за права человека в борьбу за права трупа...» «Только не оттягивай... не оттягивай... я уже и так оттянут, как ишачий член», — отмахнулся бывалый и, судя по всему, безнадежно исправленный советской тюрьмою человек.

Затем все мы прислушались к замечательному рассуждению неплохо одетого гражданина о том, что в большой очереди необходимо видеть кроме социальной шкуры ее, так сказать, духовное нутро. То есть, настаивал гражданин, на Западе, где он неоднократно бывал до «известного момента катастрофы в карьере», ему буквально ни разу не приходилось наблюдать такого вот качества общения самых разных типов, причем не знакомых

друг с другом, общения полностью братского и не сдержанного всякой сословной и снобистской пакостью.

— Западное общество предельно атомизировано, — страстно убеждал скорее себя, чем нас, человек, переставший быть выездным, — и вы на каждом шагу сталкиваетесь с тем, что вас как бы вовсе не замечают. Захожу, однажды с похмелья на Гранд-Сентрал. Это в Нью-Йорке вокзал типа нашего Ярославского, только поменьше и погрязней. Иду в сортир отлить. ...Захожу, принимаюсь за дело нужды, то есть собираюсь приняться, одновременно гляжу вокруг, как русский человек с широкой открытой душой, желающий разговариваться в праздной паузе жизни с себе подобным организмом. Организмов рядом штук семь, черных и белых. Радужно говорю, поихнему, понимаете, и ко всем обращаясь, что-то насчет вчерашнего бейсбола... Ледяное молчание в ответ... Даже головы ко мне никто не повернул, что — немыслимая вещь при затравке самого ничтожного разговора в любом нашем советском сортире. Ледяное молчание... И я думаю: а есть ли ты на свете, Игорь Матвейч? Или призрак ты своего чересчур вспененного пивом сознания?.. Может ли быть в сложном современном мире бóльшая близость, чем близость доверительно друг перед другом мочащихся мужчин, когда руки у них заняты, а языки полностью свободны для борьбы с похмельной тоскою?..

Не может! А они молчат. Нулевая реакция. Возможно, не расслышали вопроса? Или только показалось, что задал я его? Бывает всякое с того же похмелья. Бывает, тебе кажется, что наговорил ты начальству с три короба объяснений, а впоследствии, на товарищеском суде, оказывается — ты лишь стоял, ковыряя в носу и опоздав на два часа, но слова ни одного не вымолвил... «Хирса» московского разлива отшибает у нас одну из сигнальных систем. Одним словом, высказался я — в порядке приглашения управляющихся организмов к задушевности — насчет бума на бирже и плохой работы полиции в сабвее. Это — метро... Ледяное молчание... Бесчувственное, эгоистичное журчание отчужденных струй. Для каждого, чую, его унитаз гораздо родственнее живого соседнего человека... Плевать, думаю, на вас, сволочи. Я в виде протеста даже оправляться не буду, а поговорю сам с собой... у советских собственная гордость, так сказать, мы умеем в решительную минуту испепелить буржуя свысока... ебал я ваш Бруклинский мост и высокий жизненный уровень... Ну и заговорил сразу на двух языках... Думаете, арестовали, как восемнадцать суток тому назад? Нисколько... Носом никто не повел в мою сторону. Нет меня... Пустое вопящее место... Тут я форменно взвыл от страха одиночества. Хватаю какого-то мистера за грудки, застегнуть ширинку ему даже не дал, хватаю и с надрывом вопро-

шаю: «Ты меня понял?.. Ты понял меня, техническая цивилизация ебаная?» Естественно, падаю без сознания, потому что все они владеют боксом с самого детства. Думаете, забрали?.. Растормошили? Думаете, сунули в сморкало пронзительного нашатыря или тыкнули в толчок головою и спустили воду, как это дважды случилось со мною — в Москве и Тамбове? Нет... Так и валяюсь в сортирной пустыне, а подняться смущаюсь, поскольку предельно унижен непредвиденным обстоятельством иностранной действительности... Валяюсь и трясусь в рыданиях, уткнувши физиономию в габардиновый рукав макинтоша... Ни вопроса, ни расспроса, ни мимолетного интереса к человеку, все же поверженному и не имеющему сил встать с кафеля, я не дождался. Зато не раз чуял, как лезут в карман ко мне разные руки. Ошамонать пытаются и стырить деньги с документами. Не тут-то было, думаю, советский человек — не мудака манхетенский. Он портмоне на груди носит... Затем встаю... Народу в сортире полно, но — ледяное молчание с торжеством прочих звуков над личностью человека... Можете поверить: из презрения я так и не оправился, хотя впоследствии оказалось, что просто-напросто обоссался...

Иду в ООН. Там с опозданиями не так строго, как у нас... неважно где... По дороге лезу в карман... и что бы вы думали?

— Подтирки наложили, — быстро отве-

тил кто-то из больших знатоков человеческой природы.

— Ошибаетесь. Я сам сначала так подумал. В кармане моем были доллары. Сорок семь долларов различными купюрами, но не выше пятерки.

— На пару бутылок, — подсказал все тот же бойкий эрудит.

— Ошибаетесь, товарищ. На десять бутылок «Смирновской» или на четыре приличных «гуся», то есть полугаллона виски. Не выдержав напряжения внутренней жизни, принимаю оперативное решение опохмелиться, а затем уже заявиться в ООН. Захожу в кафе. Беру дабл-скотча с темным пивком «Гиннес» — расширить сосуды по-ирландски...

— А закусить? — сдавленным от аппетита и жажды шлепнуть рюмашку голосом спросил кто-то.

— На Западе большинство следящих за собой людей не закусывают по разным пустякам, а только опрокидывают, зная меру. Одним словом, успокаиваю душу. Успокаиваю еще раз. А разжевать не могу даже соломку с солью: скула онемела, и челюсть с челюстью не сходится. Там стараются с ходу бросить тебя в нокаут, чтобы ты не рыпался добавочно, а если стреляют в кого в порядке самозащиты, то стремятся не ранить тебя как-либо, а укокошить, потому что, очухавшись, ты найдешь адвоката, и уж адвокат докажет, что не ты напал, но на тебя напали, ранили и ли-

шили возможности ходить на работу. И присудят тебе с полмиллиона, когда не больше, компенсации за ранение. Покушавшийся же на тебя в порядке самозащиты господин будет мрачно оплеван либеральным общественным мнением как убийца социально-обездоленной молодости. Но дело не в этом... Опохмеляюсь, и снова пронзает меня тоска. Мало, думаю, того, что вы игнорировали мой порыв по-человечески разговориться при opravке, когда у каждого есть минутка абсолютно свободного времени, но вы повергли советского человека на кафедру, а затем откупились от него сорока семью долларами... Вы от всего откупаетесь, но вас тем больше ненавидят, чем щедрей, мудаки, относитесь вы к замурзанным мурлам третьего мира... Мы же вот — полмира отхряпали, нужду несем освобожденным от нас народам, шпионим где попало, террором занимаемся средь бела дня, а нас к тому же еще и любят, и уважают, и трепещут, не крадут и не подстреливают. Вот как мы себя умеем поставить при расстановке сил на мировой арене... Я слова от вас хотел живого в период резкого сужения сосудов и вдали от Родины, а вы презрительно помилосердствовали, падлы захававшиеся, на Уолл-стрите... А мне чего надо было? Мне всего-то надо было, чтобы я в сортире сказал вдруг с глубоким чувством личной тоски и боли за весь мир во всем мире: «О-ой, блядь... о-о-ой!!» — а ты бы мне с пониманием мо-

мента ответил бы всего-то-навсего: «Мнн-да... бывает», — и я бы на все враз плюнул за такую твою спонтанную солидарность. Я бы кассу взаимопомощи обокрал и расстался бы с кольцом обручальным навек, что не раз уже со мной бывало здесь, среди вас, товарищи...

Все мы как-то почувствовали, что рассказчик близок к нервическому срыву. Руки у него дрожали, а потому и звенела жалобно в авоськах пустая посуда. Кто-то со вздохом, сопутствующим обычно тяжким борениям человека с косным природным жлобством, протянул бедствующему рассказчику чуток серо-лунноватой жидкости на дне чекушки. Тот не мог сдержать благодарных рыданий и так и затрясся от них. Затем поставил на землю посуду и вылакал из горла, ни разу не застучав об него зубами, спасительный, возможно, глоток.

— Спасибо, товарищ... я не останусь в долгу... не тот человек... то, что вы сейчас сделали, товарищ, это — будущее Запада, за которое ему еще долго придется бороться и бороться с атомизированным индивидуализмом, — заявил рассказчик. Занюхав глоток рукавом, он вновь нагнул за авоськой, поудобней взялся и продолжал: — Откупиться не удастся, господа и мистеры. Планете нужны душевные слова, а не деньги, понимаешь, которые не пахнут... Сижу в кафешке — кафешки там, надо объективно сказать, приспособлены к интимно-внутренним душеизлияниям любой отверженной личности, — сижу,

поддаю и прикидываю, как следует поступить с презрительной милостыней надменных буржуа?.. А вдруг это — грубейшая провокация с целью дальнейшей компрометации нашей страны в обезьяньих глазах третьего мира?.. Версию откидываю, потому что американцы — весьма наивные люди. Они не могут поступить так, как мы поступим в аналогичной ситуации, скажем, с работником ихнего посольства, валяющимся с похмелья в сортире на площади Восстания. Мы бы не рублей в его карманы напихали, а, например, антисоветских прокламаций, портативных Библий, Талмудов с фотографиями Папы или даже секретных чертежей. Показываем этого алкаша по программе «Время» на всю страну... Вот он — в сортире, обоссанный, как кутенок... вот — на шмоне в отделении... вот — в вытрезвителе, среди советских людей, говорящих ему: «Почему Рейган хочет уничтожить СССР звездной войной?.. А?.. Руки прочь от Никарагуа!..» Да я бы за такую акцию снова выездным стал и даже медалишку схлопотал с премией... Мы бы этой акцией лишний раз по Сахарову вдарили с Шаранским, чтобы диссидентская шобла попритихла и не мешала нам наводить порядок на международной арене... Мы бы, одним словом, не зевнули с посольским американцем... Беру еще разок дабл-скотча — извините, дабла-скотчу — и соглашаюсь со следующей версией: провокация устроена нашими. Слежку я чуял

за собой с первого дня прибытия в Штаты. Не раз прорабатывался на партсобраниях за благодушное отношение к буржуазной массовой культуре и за попытку пристроить к телику канал «Плейбоя»... По нему можно всю ночь смотреть все натуральное в смысле тел и положений... Ну, естественно, представитель Верхней Вольты, обезьяна проклятая, нажаловался Генеральному секретарю ООН, что я два раза проспал. Не принес им, видите ли, когда обсуждали жалобу на Израиль, коктейлей... Спасало меня не раз то, что я являлся родственником домработницы Леонида Ильича. Мы все пошли по выездной линии... Благодаря такому родству наши позиции в ООН сильны были, как никогда. Вот, думаю, мечтают использовать падлы момент, чтобы нас заменить своими выездными. Хватит, мол, вам — бровастые выкормыши — гулять по буфету. Дайте и нам доллар покусать да пожить по-человечески вдали от Родины... Явно, решаю, провокация... Свои же и набили карман деньгами, то есть валютой, и надеются, что зажму ее, как какой-нибудь ничтожный Евтушенко... выездная шлюха, понимаешь... Не тут-то было, мистер Добрынин и господин Трояновский... нас на мякине не проведешь... мы все нынче жеваные-пережеваные международной напряженностью и продовольственной программой... Но я принимаю не простое решение, а соломоново, на что, кстати, сионисты всегда были большие мастера. Я решаю

возвратить в нашу казну всего двадцать два доллара, а пропитые не возвращать категорически. С какой это, скажите мне, стати я должен оплачивать все расходы по вашей провокации своими кровными «зелеными»? Да провалитесь вы все пропадом. Я и так отстегиваю вам львиную долю своей валюты на оплату шпионов и террористов, а сам вынужден даже в день рождения вдали от Родины натягивать ради экономии штопаный гондон на праздничный стол... Короче говоря, поправился я славно. Очень славно. Не пытался больше разговаривать ни с кем. Игнорировал даже беседу двух каких-то бывших советских прохиндеев. Рожи бородатые у них вдали от Родины были весьма похабны. И похожи, поверьте, на лобки скорее, а не на гражданские лица. У одного — толстого — на распаренный в бане вполне добродушный бабий лобок, а у другого — на серовато-унылый лобок моргового трупа, с увядшей уже волосней и завистливым ко всему живому выражением непонятно откуда взявшихся глазок.

Все же уходить в ООН было мне уже пора, да и вывели наконец душу мою из себя оба этих лобка. Они, видите ли, что-то тискали в соавторстве. Не выдержал я молчания и, проходя мимо, с небрежным презрением, то есть с тонкой подъебкой, замечаю: «Ну что, получеловеки, все бумагу изводите?» Тоже — ледяное молчание в ответ, словно сговорились все в этом городе воротить рыла от целого со-

ветского человека... Может, думаю, бойкот нам суровый наконец объявлен за подлости на международной арене? Самолеты сбиваем с гамбургерами и хот-догами, в смысле с Макдональдами, а Эфиопию, наоборот, доводим до полной ленинградской блокады... Доигрались в светоч прогресса, равенства и братства... От ледяного молчания эмигрантишек — холод в душе. Но я продолжаю тонко подъебывать. Демонстративно закуривают оба, глядят на меня в упор и как бы пытаются молчанием — распаренный, банный лобок и чахлый морговый... Просто изводят нахально... На Родине я уж давно врезал бы каждому кружкой пива промеж рог...

— Вот и врезал бы, поддержал бы честь родимого хоккея, — перебил кто-то рассказчика.

Тот после паузы рассудительно возразил:

— Я бы, конечно, врезал и на чужбине, но экономически было это весьма невыгодно. Они, может, только того и ждали, чтоб получить кружкой промеж рог и подать с ходу на меня в суд за моральный ущерб. И все — я в заднице. Международный скандал. Добрынин арестовывает мой ничтожный счет. Вышибают из партии. Лишают дипломатической неприкосновенности и **отгружают**, я подчеркиваю, не отправляют, а именно **отгружают** на Родину. Хорошо еще, если в приличном гробу, что маловероятно, но скорей всего в урне, потому что прах советского человека гораздо

экономичней перевозить с одного конца света на другой, чем его приборохленное тело. Прах вообще можно перевозить бесплатно в дипбагаже или даже в дамской сумочке, раз уж на то пошло дело. Чего валюту на пустяки разбазаривать?.. Но как представил я, товарищи, что два эти лобка получают от нашей Родины компенсацию за получение пивной кружкой промеж рог и за циничные оскорбления личности, как представил, что получают они, ничего такого не совершив в жизни приличного и даже не в состоянии самостоятельно, в одиночку сочинять антисоветчину, и живут всю остальную жизнь на проценты с капитала, то скрипнул зубами, забывшись, и взвыл от боли в побитой скуле. Взвыл и молча, но выразительно вышел. Это я умею... Направляюсь для решительного объяснения с Трояновским. Прихожу в ООН. Там идет заседание. Снова почему-то обсуждают жалобу на Израиль. Буфет полон миллиардеров из нефтяного Арабистана. Они выходят из зала пить кока-колу, когда посол Израиля убедительно откалякивается от мирового антисемитизма. Подсаживаюсь в баре к какому-то шейху, который аж шуршит весь с ног до головы нефтедолларами, наливаю ему в фужер пивка и говорю, что пора бы не драть за бензин с простого человека доброй воли столько же, сколько дерете с адвокатов, зубных техников, продавцов очков и пиццы. Мы ведь в одном с вами антиссионистском лагере состоим защи-

ты мира от Белого дома, господ... Шейх — ни слова. Очередное ледяное молчание. Говорить мне было ужасно больно из-за скулы, но я выступил, однако, с откровенностью постоянного члена Совета Безопасности... Молчание... И тут меня вдруг взорвало. Хлопаю еще дубла-скатчу, то есть дабла-скотча, — и как ебну ни с того ни с сего фужером по мраморной стойке и, пальцем водя перед носом шейха, говорю: «Я тебе тут, брюхо, нефтью набитое, не делегат Израиля! Ты мне тут, сука, заговор молчания не устраивай в стенах ООН... тут тебе не сортир на Гранд-Сентрал, понимаете... Хули ты молчишь, многоженец?»

Улыбнулся засранец, но молчит. Потягивать продолжает из соломинки напитков сытых. А я продолжаю бушевать, поскольку абсолютно уверен, что уж нефтяной шейх — не советский эмигрантишка и не станет выканючивать у делегации СССР в ООН какой-то несчастный миллион за моральный ущерб. Наоборот, я — чего уж теперь скрывать — как бы сам бессознательно напрашиваюсь, чтобы выдали мне по мордасам пару разочков, да с оттяжкой, да со смазкой сопатки снизу вверх и в глаз с запеком синяка... Пусть держится до Большого жури...

Шейх и не станет ждать суда. Он вынет тебе наличными пару миллионов, а цену за баррель поднимёт на один цент — и все в порядке, а я, отдав Родине положенные проценты, живу себе чин чинарем и еще орден

«Дружба народов» получаю за вклад в Госбанк валюты. А ведь за лишний миллион мы можем купить у американо-советского патриота всю «звездную войну» и чертежи новых подводных гигантов...

Послушали меня шейхи с улыбочками, подобрали свои бабские затем подолы, надвинули на лбы черные шины от детских колясок и поспешили в зал на гневную отповедь Трояновского делегату Израиля... Я же в баре закемарил, товарищи, потому что трудно и невыносимо нам с вами годами находиться среди чуждых кругов Запада и Востока... Вывел меня из отдыха член делегации Болгарии, который шестеркой был у Трояновского с Добрыниным. «Шагом арш! Сам вызывает в постоянно-членскую... На цирлах!...»

Являюсь и хочу доложить о провокации в вокзальном сортире, но Трояновский высокомерно орет на меня: «Чем от вас пахнет в ООН?.. Вы что? В хлеву валялись?.. Покровителя своего поминаете?.. Вас уже ничто не спасет... Высылаетесь немедленно на Родину!...» До меня что-то не дошло с ходу, что Леонид Ильич наконец скончался. Но я рад разговору с собою даже в таких резких административных формах. Кто из нас, скажите, не трепетал послушною душою при бешеных выговорах начальства? Никто... То есть трепетали, трепещем и будем трепетать... Однако, потрепетав и насладившись русской речью, я логически возразил, что, во-первых, Роди-

на — не ссылка, а во-вторых, я имею честь с самого утра находиться под юрисдикцией Генерального секретаря ООН и обслуживаю чаем с коктейлями постоянные жалобы на Израиль... у меня не такой иммунитет, как у вас, но и я могу просить защиты у флага Организации... в этом месте выразительно икаю... вот вам семь долларов, найденные мною в кармане смокинга, то есть пиджака, при весьма двусмысленных обстоятельствах... Еще что-то я там наговорил, а Трояновский все старался встать под вентиляцию, чтобы до его, видите ли, тонкого, постоянно-членского нюха не долетала сортирная вонища, в которой — согласитесь, товарищи, — трудно было не вывозиться вдаль от Родины... И тут дошло до меня вдруг, что Леня... отец родной... покровитель верных вассалов... Замечаю, что член Белоруссии вешает на портрет Леонида Ильича черные ленты, а член Украины чему-то злорадно ухмыляется, так и жаждет, чтобы вся Россия поскорей перешла от продовольственной программы, сволочь...

Стоит ли говорить, как я был вывезен из Нью-Йорка методами, давно отвергнутыми людьми порядочными? Не стоит. Тем более подходит наша очередь. Я был усыплен и тайно вывезен на Кубу, где пробыл две недели в братском тропическом дурдоме. Затем — Москва. Встреча с семьей. Крушение карьеры...

Я призываю протестовать, если эта мразь-приемщик вновь заставит вынимать пробки и

счищать сургуч с горлышек плодово-ягодного. Хватит, товарищи. Ведь какие-то все же права должны у нас быть в природе?..

Никто ничего не успел ответить рассказчику, хотя, например, у меня лично вопросов к нему накопилась целая куча с маленькой, как говорится, авоськой. Никто ни о чем не успел расспросить его, потому что совершенно неожиданно для нас всех, после громкого хлопка, разом вспыхнули все подсобники приемного пункта, горы наполненных пустою посудой ящичков, готовая к приему бутылок тара и прочая бытовая мусорюга, только и жаждущая какого-нибудь языка пламени, чтобы загореться наконец и перейти в иное, долгожданное состояние вещества...

Началось нечто невообразимое. Очередь, неведомым каким-то образом поняв, что ее больше не существует, превратилась в явление более неорганизованное и соответственно менее неприличное — в толпу. Ясно было, что жизнь людям дороже сдачи посуды, хотя сдается таковая именно для продолжения жизни, для предупреждения всеобщего к ней охлаждения. Приемный пункт весь был объят вонючим, угарным пламенем и дымом, отдающим керосином с бензином, спиртовым и сивушным осадком, а также сладковатой бормотью разогретых портвешков вкупе с хлебным, баннным запашком вскипевшего в трескающихся бутылках пивка... Толпа замороженно следила за животной панической воз-

ней, которая происходила на подвальной лестнице. Самые первые, даже из тех, кто успел уже сдать свою надежду приемщику, безумно стремились стать последними. Из подвального помещения, из жуткого зияния его доносились до нас вопли старающихся выбраться на улицу быстрее ближнего, доносился рык какой-то, хрипы, бабий визг, лязг давимой посуды, может быть, режущей уже ноги, упавшие тела и лица всех поверженных наземь, всех бесчеловечно подмятых более сильными и обезумевшими паникерами. Паникерами, потому что огонь и не проник бы, очевидно, в подвал с улицы, хотя...

Мелькнувшую в мозгу моем догадку утвердил Паша, шепнувший мне следующее: «Шоферишка поджег... он тут мельтешил, пока мы внимали сдуру выездному... явно все полито бензином... месть за свистнутые сачочки с посудой... Убедись лишний раз, что насильственные методы — бред собачий и удар по невинным людям... Что нам теперь делать? Новую очередь выстаивать? Новый пункт искать?»

Пожалуй, только мы с Пашей были удручены в ту минуту внезапными унылыми обстоятельствами этого злосчастливого утра и возвращением нашим в отвратину безнадежного социального уныния. Впрочем, возможно, это всего лишь казалось, что только мы с Пашей пребываем в очеловеченном как бы то ни было состоянии, тогда как со стороны все мы

могли бы произвести на постороннего наблюдателя впечатление странного многоликого животного, опьяневшего, одуревшего от пламени, клубов дыма и утробного рычания всех рвавшихся на выход из подвала, — животного, которое не покинуло еще счастливое удивление, что оно — животное — не там, в каше смятения, кровищи, взаимного подмигивания и острой, битой посуды, а здесь — на постылом, на тоскливом и унылом, но безопасном холоде поверхности земли.

Все вырывавшиеся из подвала пункта не оставались во дворе, не присоединялись, не прилипали к толпе везунчиков-соглядатаев, но с выпученными от пережитого глазами, со ртами, искривленными гримасою рыдания и обоих видов удушья — кислородного и душевного, скрывались куда-то прочь.

Ни один человек из стоявших в толпе даже и не подумал броситься на помощь к находившимся еще в подвале, даже и виду не подал притворного, что случается иногда в людском общежитии: «Вот, мол, я готов, всегда-пожалуйста, протянуть руку гибнущему, но технически не магу этого сделать, все подходы отрезаны, кое-кого следует судить за нарушение правил противопожарной безопасности...»

Молчание нашей животной толпы нарушил невыездной рассказчик. Он сказал, что наблюдал однажды в Штатах за пожаром в диско-клубе. Диско-клуб объят был наполовину пламенем, а люди продолжали танцевать,

поскольку неодушевленная запись громоподобной бурды прокручивалась себе и прокручивалась. Ничего не зная о пожаре, танцующие соответственно выламывались и топтались, будучи полностью как бы оглушены скрежетом звуков, и, возможно, так бы и занялись пламечком с ног до головы, если бы кто-то не вырубил света и грохота. После этого мгновенно началось хаотическое спасение жизней и эксцессы почище данного безобразия. Рассказчик добавил, что лично Добрынин лишил его за хождение в диско-клуб дипломатического иммунитета на две недели условно. «Донос Петрович сутки у нас работает, а двое суток стучит», — добавил он со знанием дела.

Тут же взвыла наконец сирена пожарной команды. Нас разогнали брандспойтами и чистенькими, протертыми машинным маслом топориками. Пожар ничего не стоило притушить. Многие сразу бросились вытаскивать из бесформенной груды тары чудом уцелевшую закопченную винную посуду.

Кто-то из пожарных, безусловно, обученных воздействовать водой на всегда готовые к беспорядкам людские толпы, направил струю в подвал. Оттуда начали выскакивать несколько побыстрей, чем раньше, вымоченные, стучащие зубами, но воодушевленные спасением бедолаги. Холодина пожарной воды, между прочим, мгновенно выводила очумелых граждан из шока и даже сообщала им чувство не-

которой бесшабашной веселости, происходящей в таких вот условиях, как мне кажется, от вечного духа сопричастности человеческой души к победе доброй водной стихии над злой огненной. Ясно было, что всем им начхать на посуду, погибшую в подвале, и чуялось, что многие готовы сейчас на нечто героическое и даже преступное для отпразднования спасения от огня и растаптывания...

Еще через какое-то время прибыла «скорая помощь». Из подвала начали вытаскивать поломанных и порезанных битой посудой несчастных. Вид их был ужасен. Каждый, проходя к карете или же лежа на носилках, сокрушенно повторял: «Это — не люди... не люди... не люди», — как бы давая понять, что и сам он, если бы не ушибы и раны, не имел бы права быть причисленным к человеческому роду... После «скорой» примчалась милиция — ОБХСС. Главный среди сотрудников цинично и громко произнес: «Все же ушел Кадыков от ревизии. Смудрил, сволочь... Всем разойтись. Свидетелям поджога остаться на месте для снятия показаний...»

К счастью, смертельных жертв в тот день оказалось мало. Сотрудники и санитары вытащили из подвала всего двух бездыханных человек. Одним из них был приемщик Кадыков — человек редчайше говнистого нрава с явно садистическими наклонностями, которого давно уже следовало как-либо уморить, не дожидаясь стихийного случая, за все его из-

мывательства и изгиляния над бесправными людьми, сдающими стеклотару.

Когда вынесли второго погибшего, толпа зашумела: «Ленин... Ленина уделало... Ленин загнулся...»

Мы подошли к телу того, кого все именовали Лениным. Подошли, но тут же были отогнаны Главным. Однако я успел рассмотреть лицо погибшего. Это был Картавый. Внешнего сходства у него с Лениным было не больше, чем у Ленина с Чарльзом Дарвином, чтобы не сказать с Марксом. Как он попал в самую гущу давки, когда стоял в очереди позади нас с Пашей, останется загадкой новейшей советской истории.

Дружок его, с фингалом под глазом, выдаваемым за отечный мешок в подглазье, как в воду канул. Скорей всего, оба они пробрались в подвал без очереди, чтобы как-то расправиться с саночками того оскорбленного мужичишки и с его посудой, после чего он и пустил, мерзавец, «петуха»...

Мечь, подумал я, не может быть вполне благородной, если под разящее ее копьё попадают посторонние и оказываются вдруг, как мы с моим другом Пашей, в пустыне общественной жизни, с глазу на глаз с равнодушным к чаяниям граждан государством.

Мы поспешили удалиться, проклиная гору вчерашней посуды, поразительную редкость и несовершенство работы приемных пунктов, а также глубоко вьевшийся в уши, в мозг, во все

поры наших существ мелкопакостный звон пустой стеклянной дряни. Поспешили удалиться потому еще, что Главный приказал своим ментам замести по мелкому хулиганству, переходящему с похмелья в антисоветскую агитацию, всех тех, которые называли Лениным опустившегося до жалкой гибели алкаша. Он также приказал обшмонать оставшихся на предмет обнаружения всей пропавшей кассы с деньгами растоптанного Кадыкова. Кассу, как мы поняли, кто-то успел стырить...

Покидая место брани, иначе его и не назовешь, обратил я внимание на выражение лица бывшего выездного. Лицо его было каким-то остолбенело задумчивым от всего только что происшедшего и от неостывшего еще воспоминания о драме пребывания вдали от Родины. Кроме того, была в лице его явная и почти невыносимая ненависть к самому себе, которая появляется в человеке при окончательном нежелании прощения какой-либо существенной, судьбоносной ошибки своей отвратительной личности.

Все же в человеке этом, к несчастью своему, взглянувшем однажды на родные исторические пространства с противоположной части Земли, трепетала еще каким-то образом жизнь, а следовательно, и горячая надежда пристроить в ином немислимом пункте всю эту оттянувшую сердце пустую посуду. Он начал уже движение к нему...

Надрываясь под тяжестью четырех баулов с бутылками, мы потащились к знакомой продавщице, чтобы сдать ей их все к чертовой матери хотя бы за полцены вместе с баулами и кожей измозоленных ладоней...

Тащились и всю дорогу болезненно молчали. Мой друг Паша так же, как я, с инфантильным самозабвением представлял себя на месте человека, не потерявшего голову в панический момент народного бедствия, но ментально разобравшегося в рискованной обстановке, перехватившего каким-то героическим, разбойным образом все денежки то ли из кассы, то ли уже из кармана обезумевшего Кадыкова, затем достойно отстранившегося от ужасной каши тел, а теперь вот, безусловно, подходящего уже к шашлычной, подходящего к ней с алчущим аппетитом жизни, с гордым трепетом всех душевных и телесных сил, с укором к себе за преждевременное утреннее отчаяние, с верою в конечную добропорядочность капризной Судьбы и с возрожденным, быть может, навсегда в воспрянувшем сердце чувством восторженного удивления перед таинственным поведением счастливого случая... Сейчас вот он сядет за свежий столик, с чистейшим вдохновением взглянется в знакомое до слез меню, передавая зачуханным его листочкам последнюю дрожь похмельных конечностей, поразит мизантропную фигуру официантки неслыханно солидным заказом и небрежно авансированны-

ми чаевыми, через пару минут уймет рюмашкой коньячку сердечный стук, а заодно и непослушность разлаженных пальчиков, уймет для пущей надежности и с ходу — еще разок многотрудно крякнет, помянет про себя нелепо погибшего Ленина, ухмыльнется при этом во всю свою жизнерадостную рожу и примется, в ожидании шашлычка, за сациви из цыплят, смачно шибаящее в носоглотку запашком кавказских провинций нашей необъятной, но непостижимо бездарной Империи.

Новая Англия, 1985

СОДЕРЖАНИЕ

Синенький скромный
платочек
3

Маленькая повесть
об одном безумце
и сломанной собаке
179

Признания несчастного
сексота
295

Смерть Ленина
329

Юз АЛЕШКОВСКИЙ СИНЕНЬКИЙ СКРОМНЫЙ ПЛАТОЧЕК

Выпускающий редактор *Е.В. Толкачева*
Художественный редактор *Т.Н. Костерина*
Технолог *С.С. Басинова*

Оператор компьютерной верстки *И.В. Соколова*
П. корректоры *В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский*

Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года

Подписано в печать 27.01.2000. Формат 70x90/32.

Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Объем 11,5 печ. л. Тираж 8000 экз.

Изд. № 1176. Заказ № 648

Издательство «ВАГРИУС»

129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1

Получить подробную информацию о наших книгах и планах, авторах и художниках, истории издательства, ознакомиться с фрагментами книг, высказать свои пожелания и задать интересующие Вас вопросы Вы сможете, посетив сайт издательства в сети

Интернет: <http://www.vagrius.com>

Электронная почта (E-Mail) — vagrius@vagrius.com

Издание осуществлено при участии
ООО «Фирма «Издательство АСТ»

Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени
ГУП Чеховский полиграфический комбинат
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

142300 г. Чехов Московской области

Тел. (272) 71-336, факс (272) 62-536

OCR Давид Титиевский, апрель 2020 г., Хайфа

ISBN 5-264-00224-X



9 785264 002243 >

